Глеб Струве

РУССКИЙ ЕВРОПЕЕЦ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕЛО»
Сан Франциско



Кн. П. Б. Козловский
Гравюра Карла Поля (1838 г.)

Глеб Струве

РУССКИЙ ЕВРОПЕЕЦ

Материалы для биографии и характеристики князя П. Б. Козловского

С 4 портретами и 3 карикатурами

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ДЕЛО»

Сан Франциско

Printed in the United States of America

Delo Publishing Co. 1520 Divisadero St. San Francisco 15, California.

Памяти отца моего посвящаю этот небольшой вклад в историю русской культуры и ее взаимосвязей с Западом.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИЛЛЮСТРАЦИИ

. . . сердце мое всегда понимало его и угадывало . . . мы часто вторили друг другу в чувствах наших — в с л у х, в нашем соучастии к людям, в нашем сострадании к их слабостям, в нашем негодовании к их гнусным утеснителям . . .

А. И. Тургенев о кн. П. Б. Козловском

. . . в нем были и герцог Версальского двора, и Английский свободный мыслитель.

Кн. П. А. Вяземский

C'est un Russe engraissé par la civilisation.

Mme de Staël

Felix qui potuit rerum cognoscere causas.

Виргилий
(любимое изречение Козловского)

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Мой интерес к кн. П. Б. Козловскому был отчасти привлечен в 1935 г. покойным С. В. Познером, который прислал мне свою небольшую статью о Козловском с просьбой устроить её напечатание в лондонском Slavonic and East European Review. Статья эта заключала в себе интересные, найденные Познером письма Козловского к Шатобриану и г-же де Сталь, которые он считал неопубликованными, и скудные сведения о самом Козловском, почерпнутые из Русского Биографического Словаря. Более ранняя попытка С. В. Познера напечатать статью в Le Monde Slave потерпела неудачу; не удалось напечатать её и в Англии. Во время войны, кажется в 1942 или в 1943 г., моему приятелю А. В. Яковлеву посчастливилось найти в Лондоне оригинал очень хорошего и интересного неопубликованного портрета Козловского, воспроизводимого мною ниже. Позднее он любезно преподнес мне этот портрет. Находка этого портрета подстегнула мой интерес к Козловскому, тем более, что я в это время занимался историей англо-русских культурных связей, и я стал систематически собирать разбросанный материал о Козловском. По окончании войны я снесся с тогда еще находившимся в живых и проживавшим во Франции С. В. Познером и, сообщив ему о том, что мной собран богатый и оставшийся неизвестным и ему и автору заметки в Биографическом Словаре материал о Козловском, просил его разрешения использовать найденные им письма в связи с этим собранным мной материалом. Это разрешение он мне дал в 1946 г. Только совсем недавно я установил, что письма эти в подлиннике были уже напечатаны.

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящий очерк не притязает быть окончательной биографией Козловского. Для такой биографии еще не настало время—и в русских и в заграничных собраниях наверное будут еще обнаружены новые документы; в частности и в архиве русского министерства иностранных дел, и в архивах в Турине и Штутгарте должны храниться интересные материалы, относящиеся к дипломатической деятельности Козловского. Кое-что из русских архивных материалов опубликовано в «Литературном Наследстве» в связи с русскими отношениями де Мэстра и г-жи де Сталь (см. ниже). Парижские архивные материалы использованы L. Pingaud в его статье о Козловском как о дипломате (см. Библиографию). Удастся, может быть, напасть и на след затерявшихся Записок Козловского, которые он якобы хранил во Франции.

В 1845 г. первый биограф Козловского, его приятель, немец Вильгельм Доров, писал, немного преувеличенно, что Козловский «представляет собой тему, которой не исчерпать и в десяти томах» и что его задача лишь собрать материал для будущего биографа. Эту задачу собирания отдельных камней для будущего памятника Козловскому Доров любовно и заботливо выполнил, хотя в его биографии и встречаются неточности. Как он сам указывает, ему много помогли в этом приятель Козловского Фарнгаген фон Энзе и еще один «превосходный, высокочтимый друг покойного» (вероятно, кн. П. А. Вяземский). Моя задача была столь же скромна—продолжить работу Дорова, отчасти повторяя его. Но в моем распоряжении было уже значительно больше строительного материала. Много ценного, нового по сравнению с Доровым, материала дает вышеупомянутая статья Пэнго. И хотя я не включил в мой очерк всего, что было собрано Доровым, я хотел собрать в возможно большей полноте материалы для будущего жизнеописания Козловского и на основании этих материалов, частью похороненных в малодоступных изданиях, частью доныне неопубликованных, дать характеристику личности и взглядов Козловского и ввести его в рамки эпохи.

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

В тексте моей работы я почти не даю точных ссылок на источники тех или иных сведений и фактов, приводимых мной, но в конце привожу полный обзор известной мне литературы о Козловском. В приложениях я даю дошедшие до нас письма Козловского, частью впервые мной публикуемые, частью извлеченные из печатных источников; отрывок из воспоминаний самого Козловского и некоторые другие материалы.

Работу свою я не считаю законченной и к Козловскому надеюсь еще вернуться—и как к незаурядной и незаслуженно забытой личности, и в связи с историей русского «европеизма», в частности и в особенности в связи с давно меня привлекающими фигурами двух друзей Козловского: кн. П. А. Вяземского и Ал. Ив. Тургенева, которые тоже были «русскими европейцами». К сожалению, как изгнанник, я лишен доступа к книжным и рукописным хранилищам в самой России, и это естественно мешало и будет мешать мне в моей работе над Козловским и смежными темами. В С. С. С. Р. к Козловскому до сих пор особого интереса проявлено не было. Некоторое исключение представляет появившийся в 1939 г. русско-французский том «Литературного Наследства», где о Козловском говорится довольно много в связи с де Мэстром, Шатобрианом и г-жей де Сталь, но сведения, даваемые там о Козловском, все основаны на старых скудных источниках и даже не всегда точны. Сейчас, разумеется, Козловский, как западник и «космополит», должен являться для советских исследователей фигурой крайне одиозной.

Небольшая часть предлагаемой здесь читателю работы была напечатана под названием «Друг Пушкина—кн. П. Б. Козловский» в пушкинском (XVI) выпуске ежегодника «День Русского Ребенка» (Сан Франциско, апрель 1949 г.).

Berkeley, California
Ноябрь 1949 г.

I

Жизнь и личность князя П. Б. Козловского

Среди современников и приятелей Пушкина до сих пор как-то мало внимания привлек к себе кн. П. Б. Козловский, один из оригинальнейших и занятнейших русских людей своего времени. Как это ни странно, в известной двухтомной работе покойного В. В. Вересаева «Спутники Пушкина», где даны сведения обо всех лицах, с которыми Пушкину привелось так или иначе сталкиваться на своем жизненном пути, включая даже мимолетных знакомых и людей малоинтересных, Козловский отсутствует. Между тем, хотя Пушкин, повидимому, познакомился с Козловским всего года за два до своей смерти, знакомство это было довольно значительным. Козловский стал сотрудником пушкинского «Современника» и, по словам кн. П. А. Вяземского, проявил к журналу живой интерес. Еще при жизни Пушкина в первой и третьей книгах «Современника» появились ученые статьи Козловского: отзыв об ежегоднике парижского Bureau des longitudes, написанной по наущению Вяземского, и статья под заглавием «О надежде» —о теории вероятностей. Уже после смерти Пушкина была напечатана в «Современнике» еще одна статья Козловского—о паровых машинах, прямо заказанная ему Пушкиным; для этой статьи Козловский использовал богатую иностранную, главным образом английскую и французскую, научную литературу и писал он её, по собственным словам, con amore. Пушкин писал Чаадаеву, что, вздумай Козловский раз навсегда стать писателем, он был бы его провидением.

Князь Петр Борисович Козловский родился в Москве в 1783 г., в один год с Жуковским. Отец его был секунд-

майор кн. Борис Петрович Козловский, мать—урожденная Бологовская. Князья Козловские вели свой род от Рюрика (см. ниже, Приложение I). Встречающееся иногда утверждение, что они были польского происхождения, ни на чем не основано, хотя фамилия эта (не-княжеская) и распространена в Польше.

Двоюродный дядя кн. П. Б. Козловского, князь Федор Алексеевич, оставил некоторый след в истории русской культуры: по поручению Екатерины II он посетил Вольтера в его фернейском уединении. Он писал также стихи и даже имел некоторое влияние на Державина. Еще сравнительно молодым человеком он погиб в чесменском бою.

Если верить первому биографу кн. П. Б. Козловского, Дорову, Козловский с детства встречал в отцовском доме много иностранцев, главным образом французских эмигрантов, и присутствовал при их беседах с его отцом.[1] Как многие русские его времени, он с раннего возраста свободно владел французским языком, а впоследствии научился хорошо говорить по английски, по немецки и по итальянски; по итальянски даже писал—неправильно но очень бойко.

Отец Козловского был, видимо, человек не без странностей, крайне деспотичный и болезненно скупой. Товарищ Козловского по московскому Благородному Пансиону и ровесник его, Андрей Иванович Тургенев, приехав в 1801 г. в Петербург, куда отец в это время отправил Козловского, нашел последнего больным, живущим в ужасных условиях в казармах, окруженным сквернословящими и богохульствующими гвардейскими офицерами. Тургенев писал родителям в Москву:

> . . . всё это маловажно в сравнении с прочим. Первое величайшее несчастие его состоит в том, что он в отце своем имеет первого своего злодея; если бы самый злой человек имел злейшего врага, и тогда разве мог бы он быть так адски изобретателен на средства его мучить. По его приказанию он тут живет и никуда не смеет переехать. Письма его к нему исполнены черною злобою, а вы сами знаете, можно ли кому-нибудь нена-

видеть Козловского . . . Ко всему этому, он не имеет ни полушки. Теперь мы упросили лекаря лечить его, а то он лежал без помощи. Чтобы всё это уяснить для вас, скажу однакож, что характер его спокойный и равнодушный, и религия многое для него облегчает . . .

И Тургенев просил родителей похлопотать, чтобы отец разрешил Козловскому переехать к нему и его братьям.

Письмо это интересно и с биографической точки зрения, и как указание на раннюю религиозность Козловского.

Письмо Андрея Тургенева датировано 25 декабря 1801 г. До того, повидимому с начала 1801 г., Козловский вместе с Андреем Тургеневым , его младшим братом Александром и братьями Булгаковыми был в числе «архивных юношей», т.е. на службе в московском архиве Коллегии иностранных дел. Небезызвестный Вигель, всегда отличавшийся злым языком и скорее недоброжелательным отношением к людям, так вспоминал об этом в своих «Записках»:

Молва уже говорила нам об одном князе Козловском, молодом мудреце, который имел намерение определиться к нам в товарищи, и мы с любопытством ожидали обещанное нам чудо. Вместо чуда увидели мы просто чудака. Правда, толщина не по летам, в голосе и в походке натуральная важность, а на лице удивительное сходство с портретами Бурбонов старшей линии, заставили сначала самого г. Бантыша-Каменского [2] принять его с некоторым уважением; разглядев же его пристальнее, узнали мы в нем совсем не педанта, но доброго малого, сообщительного, веселого и даже легкомысленного. Способностей в нем было много, учености никакой, даже познаний весьма мало, но он славно говорил по французски и порядочно писал русские стихи. Откормленный, румяный, он всегда смеялся и смешил, имел однако искусство не давать себя осмеивать, не смотря на свое обжорство и умышленный цинизм в наряде, коим прикрывал он бедность или скупость родителей.

О бедности родителей Козловского едва ли можно говорить. По словам Дорова, отец Козловского (†1809 г.?)

оставил крупное состояние, бо́льшую часть которого сын разделил между своими сестрами, по закону имевшими право лишь на 1/14 часть. Несколько иначе изображал дело товарищ Козловского по московскому Архиву, А. Я. Булгаков, в письме брату, писанном в 1812 г. По Булгакову выходит, что сестры просто лишили Козловского имения (см. это письмо в Приложении II). До нас дошло одно письмо Козловского к сестре Анне, тоже писанное в 1812 г. и полное братских чувств. Оно подтверждает, что отцовское имение перешло к сестрам Козловского (см. это интересное письмо в Приложении V). Одна из сестер Козловского была замужем за М. С. Кайсаровым, одним из двоюродных братьев Тургеневых.

И Доров, и Пэнго упоминают, что дипломатическая карьера Козловского началась у кн. Ал-дра Б. Куракина (1752-1818), бывшего послом в Вене в конце XVIII в., и снова с 1806 по 1808 г. Пэнго говорит, что Козловскому было тогда всего 16 лет, т.е. приурачивает этот дипломатический дебют Козловского к 1799 или 1800 г., иными словами до поступления в Московский Архив. Это не невозможно, но маловероятно. В биографии Козловского в Русском Биографическом Словаре о службе в Вене не упоминается, а говорится, что в 1802 г. он был назначен переводчиком к русской миссии при сардинском дворе, пребывавшем в то время в Риме. Возможно, что до назначения в Рим Козловский прослужил некото́рое время в Вене: из письма А. Я. Булгакова от июня 1803 г. мы знаем, что в Рим Козловский приехал из Вены; впрочем Булгаков пишет лишь о «проезде» через Вену. В редакционном примечании к статье об отношениях Козловского с Мэстром в «Литературном Наследстве» говорится, что Козловский служил в Вене в 1806 г., т.е. именно при Куракине. Но это как будто не вяжется с другими фактами и датами его биографии.

Во всяком случае к сардинской миссии Козловский был определен в 1803 г. Русским посланником при сардинском дворе был в то время Иоаким Егорович Лизаке-

вич, немолодой уже и заслуженный дипломат. За год до того как Козловский попал в Рим, в июне 1802 г., сардинский король Карл-Эммануил отрекся от престола в пользу своего брата и уединился в монастыре иезуитов. Новый король, Виктор-Эммануил I (1759-1824) проживал в Риме, никем официально непризнанный. Но Россия и Англия выплачивали ему субсидию, как жертве Наполеона. Россия держала при нем миссию, а он в свою очередь послал в Петербург своим полу-официальным представителем графа Жозефа де Мэстра, знаменитого впоследствии политического философа, который очень тяготился в Петербурге своей дипломатической «незаконностью». Впоследствии Козловский лично познакомился с де Мэстром, и между ними завязалась интересная переписка. Козловскому пришлось также сыграть роль в деле отозвания де Мэстра из Петербурга в связи с внезапным закрытием ордена иезуитов в 1816 г. Вопрос об отношениях Козловского и де Мэстра заслуживает особого рассмотрения, которое затрудняется тем, что, хотя мы имеем несколько интересных писем де Мэстра к Козловскому, письма последнего к де Мэстру до сих пор неизвестны.[3]

Попав в Рим, Козловский познакомился и подружился там с Шатобрианом. Если верить самому Козловскому,[4] они вместе бродили по Колизею и вдоль берегов Тибра. Шатобриан впоследствии по каким-то соображениям отрицал свою близость с Козловским,[5] но эти близкие отношения подтверждаются не только свидетельством Дорова, который говорит, что Козловского до самой смерти связывали с Шатобрианом тесные дружеские узы, но и одним сохранившимся в архиве русского министерства иностранных дел документом: выговором посланнику Лизакевичу за то, что он отпустил Козловского в Неаполь с секретарем кардинала Феша, представителя Наполеона при папском дворе;[6] а секретарем Феша и был Шатобриан. Кроме того, среди обнаруженных в России писем Шатобриана, напечатанных в «Литературном Наследстве», имеется письмо к Козловскому 1832 г., написанное в дру-

жеском тоне: между прочим Шатобриан благодарит Козловского за четыре коробки шоколада, присланных Козловским его жене. О близости Козловского в римский период к Шатобриану свидетельствует также письмо А. Я. Булгакова, который состоял в это время при русской миссии в Неаполе, брату Константину от 3-го октября 1803 г., где он пишет, что Козловский начал писать «Римскую историю» и показал план её своему другу Шатобриану, который, по словам самого Козловского, «пришел от неё в восторг».

Кроме Шатобриана, Козловский завел дружбу с французским иезуитом Лами, с помощью которого стал пополнять свое образование — в скудости его он отдавал себе отчет не хуже Вигеля. Он занимался с Лами древними языками, историей и математикой. Знакомство это имело в жизни Козловского большое значение—не только потому, что во всех этих областях Козловский проявил себя впоследствии человеком весьма начитанным и сведующим: латинских поэтов он знал на зубок, исторической начитанностью поражал и русских и европейских своих друзей, а в математике стоял вполне на уровне современных ему знаний и даже изобрел какой-то замысловатый прибор—но и потому еще, что под влиянием Лами он тайно перешел в католичество. Священник Морошкин, автор упомянутой выше весьма тенденциозной книги об иезуитах в России, даже утверждал—правда, голословно—что Козловский позднее и сам стал иезуитом, что представляется маловероятным.

О жизни Козловского в Риме мы узнаем кое-что из переписки А. Я. Булгакова с братом. 14 (26) июля 1803 г. он пишет:

Мне пишут, что Козловский бегает по развалинам, удивляется и кричит: чогт знает, как это стганно!

(Козловский, очевидно, картавил).

В другом письме он пишет, что Козловский «стал страшный педант . . . о ином не говорит, как о Вестфальском мире»—очевидно, в связи с занятиями историей. Бул-

гаков прибавляет, что его сослуживец Карпов говорит про Козловского, что «его голова—сумбурная библиотека».

В письме от 3 октября того же 1803 года Булгаков пишет, что Козловский «проказит в Риме», и рассказывает следующий анекдот про него. Папа устраивал какой-то прием. Козловский тоже отправился туда—в шелковых чулках и в сопровождении двух наемных лакеев, без которых он не выходил на улицу и про которых говорил, что обязанность одного—докладывать о нем, а другого чистить его башмаки (Булгаков удивляется, откуда у него брались деньги на лакеев). Войдя в Ватиканский дворец и увидя множество людей, Козловский принял одного из кардиналов за папу, подошел к нему, поцеловал руку и вместо «Vostra Santità» назвал его «Vostra Sanità». Раздался всеобщий громкий хохот. Какой-то француз сказал ему, что это не папа, а кардинал, и что папа находится в более дальнем покое, но видеть его нельзя. «Знатных иностранцев всюду пропускают», отвечал Козловский, отправился дальше, прошел в покой папы и представился ему. «Папа его обласкал и много с ним говорил. Козловский, говорят, ночи не спал от радости», пишет Булгаков.

В 1805 г. мы видим Козловского в России, на водах в Липецке. Возможно, что он приезжал в отпуск. О пребывании Козловского на Липецких водах есть упоминание в письме Александра Ив. Тургенева Кайсарову в Геттинген. Тургенев пишет, что он, его братья и другие все волочатся за «Иогельшей», сестрой танцмейстера Иогеля, того самого, которого потом изобразил Толстой в «Войне и мире», и прибавляет:

> Старой и малой все с ума сошли от одной, а я и к. Козловский, кажется, в большом фаворе...

Наполеон не очень долго терпел пребывание сначала в Риме а потом в Неаполе сардинского короля-эмигранта; в январе 1806 г. он написал папе Пию VII: «Я не желаю в Риме русского и сардинского посланника», и месяц спустя Виктор-Эммануил на русском корабле отбыл в Кальяри, сопровождаемый Лизакевичем и Козловским. Здесь сардинский двор провел восемь лет в боль-

шой бедности и вынужденном бездействии. Король, человек ограниченный, тщеславный и слабовольный, делил свои досуги между сражениями в триктрак со своим духовником и «игрой в солдатики» со своим небольшим войском. Королева Мария-Терезия, бывшая австрийская эрцгерцогиня, женщина умная и властная, томилась бездействием и полной отрезанностию от мира и втайне лелеяла разные честолюбивые замыслы. В апреле 1806 г. все сообщения между Сардинией и французскими и итальянскими портами были прерваны, а с установлением континентальной блокады изоляция Сардинии стала еще более полной.

В начале 1808 г. Лизакевич, которому надоело заточение на острове, взял отпуск для поправления здоровья и уехал в Рим, оставив все дела на своего молодого помощника. Дел, впрочем, было немного, и служба Козловского в сущности являлась синекурой. В своих донесениях он жаловался на трудности своего положения: регулярная переписка с Петербургом была невозможна, депеши его шли несколько месяцев, а иногда и около года; порой и совсем пропадали. Дипломатическая деятельность его сводилась главным образом к различным экономическим мерам с целью ослабить эффект континентальной блокады. После заключения Россией Тильзитского мира с Наполеоном, Козловский завязал отношения с французскими властями на Корсике и на материке, посылал во Францию английские газеты, получал оттуда французские газеты. В это время он открыто проявлял франкофильство, что́ не нравилось сардинскому двору. Так, Козловский помог ряду французских пленных, интернированных испанцами на Балеарских островах, бежать на Корсику, за что впоследствии получил от Наполеона крест Почетного Легиона. Наполеоновский префект полиции в Генуе, Бурдон, говорил, что «и агент Империи не сделал бы больше для своих соотечественников, чем делает посланник его величества императора всероссийского», и не проявил бы такого энтузиазма по отношению к Наполеону. Это, впрочем, не мешало самому Наполеону иногда называть Козловского «болваном».

Свои досуги Козловский заполнял литературными занятиями: за время пребывания в Кальяри им было написано историческое исследование о генуэзском владычестве в Крыму, оставшееся в рукописи (уцелело ли оно, неизвестно). К этому времени относятся письма Козловского к Шатобриану и г-же де Сталь, впервые печатаемые по русски ниже (см. Приложение III). Он отправил их через обычный свой французский канал, и они были перехвачены французской полицией.

В 1809 г. развлечением для Козловского было шестинедельное пребывание в Кальяри герцога Орлеанского, будущего короля Людовика-Филиппа. Он жил на той же вилле, что Козловский, они вместе совершали прогулки по берегу моря и читали и комментировали Шекспира. Козловский впоследствии восторженно отзывался об уме и знаниях герцога.

Другим эпизодом, внесшим оживление в жизнь Козловского, было появление в Кальяри (в августе 1810 г.) брата Наполеона, Люсьена, бежавшего из Рима якобы с намерением пробраться в Америку. Козловский оказался замешан в эту историю. Он первый уведомил французские власти в Риме о намечавшемся побеге, о котором он догадался в порядке сыска за своим дипломатическим соперником, английским представителем в Кальяри.[7] Письмо Козловского французскому префекту в Риме получено было слишком поздно, чтобы предотвратить побег. Когда Люсьен Бонапарт высадился в Кальяри и был интернирован в тамошнем лазарете, Козловский посетил его и имел с ним беседу. Хилл добился ареста Люсьена Бонапарта, и отправил его сначала на Мальту, а потом в Англию.[8]

К этому времени Козловский был официально сделан русским поверенным в делах в Сардинии. В конце 1811 г. его вызвали в Петербург. В Риме он встретился со своим старым приятелем Ник. Ив. Тургеневым. Возможно, что они вместе отправились в Россию, куда Козловский прибыл, повидимому, в конце 1811 или начале 1812 г. А в марте 1812 г., в связи с переменами в служебном составе министерства иностранных дел, вызванными отстав-

кой Сперанского и опалой т.н. «французской партии», он был назначен столоначальником в канцелярию гр. Румянцева на место «франкофила» Жерве и сделан камергером.[9] Эта служба при Румянцеве оказалась недолговечной. Если верить передаваемому Доровым рассказу самого Козловского, конец карьере последнего был положен забавным инцидентом, приключившимся с ним: занимаясь однажды с Румянцевым очередными делами, он вместо того, чтобы присыпать песком какую-то бумагу, опрокинул чернильницу на безупречные лосины канцлера. Впрочем, еще до того проницательный де Мэстр писал своему сардинскому начальству, что служба в канцелярии Румянцева не подходит Козловскому. Доров упоминает, что после начала военных действий против Наполеона Козловский сопровождал императора Александра в главную квартиру в Вильно и что в это время благоволение государя к Козловскому достигло наивысшей точки. Козловский впоследствии рассказывал, что однажды, когда он явился к государю, не найдя на пути никакой охраны, он осмелился выразить Александру свое удивление. На что тот показал ему за открытой сзади дверью часового и сказал: «Ты видишь этого часового: у моего отца он тоже был, но это не сохранило ему жизнь».

Осенью того же года Козловский, просивший о дипломатическом назначении, был снова назначен в Сардинию, на этот раз полномочным посланником. Назначение состоялось не без некоторого противодействия со стороны де Мэстра и против желания сардинского правительства, а может быть и в пику ему: первоначально предполагалось назначить в Сардинию Мочениго, а Козловского послать в Неаполь. Сложные перипетии этой дипломатической истории можно прочесть в переписке де Мэстра в полном собрании его сочинений.

Козловский покинул Россию в ноябре 1812 г. и через Швецию и Англию отправился в Сардинию. Он вез с собой составленное в дружеских выражениях письмо Александра к королю Виктору-Эммануилу. Со своей стороны де Мэстр снабдил его письмом к своему лондонскому



LONGITUDE & LATITUDE of St PETERSBURGH.

Долгота и широта Санкт-Петербурга

Гр. Д. Х. Ливен и кн. П. Б. Козловский

Гравюра Дж. Крукшанка (1813 г.)

коллеге, графу Фронту. У берегов Аландских островов корабль Козловского потерпел крушение, и ему пришлось пережидать там попутного ветра (см. письмо его к сестре, Приложение V). В Англии Козловский задержался на целых полгода и за это время завоевал себе большую популярность в английском обществе. В январе 1813 г. мы находим его на фешенебельном курорте Бас (Bath), где он, несмотря на свою некрасивость и непомерную толщину, пленяет молодых барышень из английской аристократии своим искусством в вальсе, который как раз в это время ввела в моду в Англии супруга русского посла, графиня Ливен. Жена английского дипломата, Джорджа Джаксона (Sir George Jackson, 1785-1861), писала мужу в Берлин 19-го января 1813 г.:

> Среди «знатных иностранцев» мы имеем князя Козловского, который в последнее время оживляет басское общество. Он русский и едет в Сардинию в качестве посланника. Конечно, блестящие успехи русской армии бросили некоторый свет и на него и сделали его героем вечера, как если бы он сам был победоносным генералом, особенно у барышень, хотя я не могу сказать многого в пользу его наружности. Но они все говорят, и твоя сестра Клара, к сожалению, с таким же восхищением, как и остальные: «О, у него такая элегантная фигура, и он вальсирует как божество!» Какое божество, они не говорят, но уж наверное не Аполлон . . .

А 17-го июня того же года брат Джаксона писал ему из Лондона о непопулярности графини Ливен, муж которой недавно был назначен русским послом, и противопоставлял ей Козловского, как «доброго малого». В опубликованной до сих пор переписке графини (позднее светлейшей княгини) Дарьи Христофоровны Ливен (1785-1857), сестры гр. А. Х. Бенкендорфа, женщины весьма замечательной, любовницы Меттерниха, а позднее Гизо, вскоре после описываемого времени завоевавшей себе исключительное положение в английском обществе и пользовавшейся благоволением короля Георга IV, Козловский почти не упоминается. Но в неизданном архиве её имеются письма Козловского к ней. Существует также забавная карикатура, изображающая их вальсирующими

в паре, с подписью «Долгота и широта Санкт-Петербурга» (подробнее об этой воспроизводимой мною карикатуре см. ниже Приложение XIV: «Иконография Козловского»). Вообще уже в это свое первое пребывание в Англии Козловский, повидимому, сделался одним из излюбленных объектов английских карикатуристов.

За свое шестимесячное пребывание в Англии Козловский завязал, очевидно, не только светские, но и политические, а может быть и литературные связи. Возможно, что он встретился в Лондоне с г-жей де Сталь, которая после посещения России и Швеции прибыла в Англию в 1813 г. Когда именно Козловский покинул Англию, мы не знаем, но в начале августа 1813 г. К. Я. Булгаков писал брату из Германии, что «Козловский отправился на свое министерство в Кальяри». А 4-го мая 1814 г. Козловский вместе с сардинской королевской семьей отбыл в столицу освобожденного от французов Пьемонта. Пребывание его в Турине было на этот раз недолгим: если верить Дорову, то в июне 1814 г. он уже сопровождал императора Александра в Лондон, а в октябре был вызван на Венский Конгресс, в связи отчасти с вопросом о присоединении Генуи к Пьемонту. В живых и занятных воспоминаниях француза Шамбона де ла Гарда, посвященных главным образом светской и праздничной стороне «танцующего» конгресса, есть много забавных рассказов и анекдотов о Козловском, как одной из самых блестящих и популярных фигур в тогдашних дипломатических салонах. Де ла Гард ценил в нем, как он сам говорит, столь редкие у дипломатов высоту и независимость взгляда на людей и события, а также его глубокие знания, в частности истории, опиравшиеся на замечательную память. С другой стороны встречавший Козловского в Вене строгий и педантичный Н. М. Лонгинов в письмах к гр. С. Р. Воронцову, бывшему русскому послу в Лондоне, очень нелестно отзывался о легкомысленном Козловском. В письме от 11/23 октября 1814 г. из Вены он писал:

> Сюда вызвали Поццо из Парижа, Каподистрию из Швейцарии и Козловского из Турина. Последний сде-

лал великую глупость, требуя, чтобы его вызвали сюда, чтобы придать себе важности, так как теперь не хотят, чтобы он возвращался, и хлопочут об этом за его спиной. Он такой же сумасброд, каким был в Лондоне, и беспрестанно хвалится передо мной милостями вашего превосходительства к нему . . . В сущности я не знаю что можно делать с этим человеком на конгрессе, если только не желать разгласить наперед все дела. К счастью, его ни к чему не употребляют . . .

Позднее, уже из Мюнхена, куда Козловский заезжал по пути назад в Турин, Лонгинов писал:

У нас здесь пробыл две недели феномен Козловский на обратном пути к своему посту в Турине, куда ему удалось вернуться наперекор всему. Всё, что этот человек говорил, было так нелепо, что мы обрадовались, когда он нас покинул . . . Этот сумасброд беспрерывно занимал нас своей вздорной болтовней.

Между прочим Лонгинов сообщил Воронцову, что в Вене ставился вопрос о назначении Козловского в Америку, но назначение это не состоялось.

Никакой видной роли на Конгрессе в Вене Козловский не играл: в переписке заправил Конгресса имя его почти не встречается. Но, как правильно подозревал Лонгинов, общительность и болтливость Козловского, его многочисленные связи и популярность в обществе сделали его ценным объектом наблюдения для прекрасно поставленной тайной службы австрийской полиции. В интересной книге французского историка Вейля (Weil) «Изнанка Венского Конгресса» (см. Библиографию), где приведено множество донесений агентов австрийской полиции, платных и добровольных, имя Козловского фигурирует довольно часто, сообщаются подслушанные разговоры его и т. д. Из этих подслушанных разговоров интересен разговор Козловского с английским дипломатом Стратфордом-Каннингом,[10] из которого видно, что в момент особенного обострения русско-австрийских и русско-английских отношений из-за вопроса о Польше и Саксонии Козловский считал позицию императора Александра слишком уступчивой. Если верить австрийскому агенту, Козловский говорил англичанину: «Нам угрожают войной.

Что-ж, посмотрим, какую выгоду они из этого извлекут. Будьте уверены, что ни одна армия так не желает войны, как наша, которая ждет её с нетерпением». На возражение Каннинга, что он в этом не сомневается, но что император Александр войны не желает и в конце концов уступит, Козловский продолжал: «Это-то и плохо — он слишком благоразумен. Я бы подписал или давно бы уж сказал: «Будем воевать. Приведите с собой французов в Германию. Уничтожьте с помощью баварцев и вюртембержцев бедных пруссаков, тех, которые одни спасли Германию». Бедные пруссаки, вот как им отплачивают за их жертвы. Австрия с её 28 миллионами населения и богатствами, которых она не знает и не умеет использовать, боится Пруссии и ее 12 миллионов жителей. Разве из зависти отказывать ей в Саксонии не значит унижать ее? . . . Любезный Каннинг, если эта Саксония заслуживает того, чтобы мы снова погрузили Европу в бездну, мы всего меньше потеряем от этого. Если бы я был австрийцем, я бы считал своим злейшим врагом того, кто рекомендовал бы войну. Если против нас начнут войну, мы будем вынуждены воспользоваться настроениями поляков и венгров. Они только и ждут этого. И потом, где Австрия найдет материальные рессурсы для продолжения войны? Она расчитывает на вас, на вас, которые когда-то обещали Саксонию Пруссии, а теперь предаете последнюю». В той же книге Вейля есть письма Козловского к баварскому королю и его министру графу Монжеласу,[11] написанные вскоре после возвращения Козловского с Венского Конгресса и перехваченные добросовестной австрийской полицией.

Во время Конгресса Козловский близко сошелся также с знаменитым полководцем, фельдмаршалом принцем де Линем, одним из самых красочных представителей XVIII века.[12] Славившийся своими остроумными эпиграммами, де Линь пустил в ход знаменитое крылатое выражение: «Конгресс танцует, но не подвигается». Сам Козловский потом использовал это крылатое словечко и после бегства Наполеона с Эльбы называл Конгресс вторым представлением водевиля «Прерванный танец». Де Линю

же принадлежит другое крылатое изречение: предчувствуя близость конца, престарелый фельдмаршал (ему было за 80 лет) сказал, что не хочет лишить Конгресс еще одного пышного зрелища — своих похорон. Он действительно умер до конца работ Конгресса. Из воспоминаний де ла Гарда, который был близок к де Линю, видно, что Козловский часто бывал у старого сподвижника Екатерины II. Де ла Гард говорит, что после смерти де Линя его особенно потянуло к Козловскому.

Вскоре по окончании Венского Конгресса на Козловского было возложено наиболее серьезное поручение за всю его дипломатическую карьеру: ему пришлось принимать участие в работах по демаркации границ между Швейцарией, Францией и Пьемонтом. Переговоры эти велись сначала в Париже, потом в Турине. Ход их подробно излагается в дипломатической переписке женевского представителя Шарля Пиктэ де Рошмона (1755-1824), который встретил в Козловском живейшее сочувствие к интересам Швейцарии. О последней Козловский отзывался с восторгом (см. Приложение IV). По словам Пиктэ, Козловский выражал желание, чтобы Женева пожаловала ему почетное гражданство. В возложенных на него переговорах Козловскому удалось добиться успешного и приемлемого для всех сторон соглашения.

Позднее, в 1816-17 г., Козловский принимал участие в переговорах об окончательной ликвидации союзной оккупации во Франции. Здесь он снова встретился с г-жей де Сталь. А в начале 1818 г. он был вызван на конгресс Священного Союза в Ахене.

Козловский оставался в Турине до конца 1818 г. Обстоятельства, при которых он был переведен оттуда, нам в точности неизвестны, и за недоступностью для нас сейчас русских архивов пролить на них окончательный свет невозможно. Повидимому, тут сыграл роль либерализм Козловского, его отрицательное отношение к явно реакционной политике пьемонтского правительства (в этом он должен был встречать сочувствие у де Мэстра,

оказавшегося в это время фактически не у дел). Известны его отрицательные отзывы о пьемонтском режиме, который он сравнивал с турецким. Бианки, историк европейской дипломатии в Италии, приводит депешу сардинского представителя в Вене графа Росси[13] от 9-го декабря 1814 года, из которой видно, что еще во время Венского Конгресса Козловский с жаром доказывал целесообразность для реставрированных в Европе после падения Наполеона правительств введения конституционного строя. В марте 1818 г., когда русский министр иностранных дел граф Каподистрия[14] разослал русским дипломатическим представителям заграницей циркуляр с текстом знаменитой либеральной речи Александра I перед польским сеймом, у Козловского произошел любопытный разговор с одним из пьемонтских чиновников. Последний прямо спросил Козловского: «Вы, значит, хотите, чтобы мы даровали конституцию, подобную той, которую вы установили в Польше?» Козловский стал доказывать, что соединенное влияние Польши и конституционной Франции могло бы принести много добра не только России, но и монархии вообще. Пьемонтский министр граф Валез[15] называл Козловского «одним из самых крайних апостолов свободы и конституции». Один не слишком достоверный источник (немец Иоганн Вит, он же фон Дерринг, личность довольно сомнительная) прямо утверждает, что Козловский в течение всего своего пребывания в Турине занимался подстрекательством к революции и вел себя как «архи-якобинец», прибегая ко всевозможным средствам, вплоть до анонимных писем и подложных приказов по армии! Доров с негодованием отвергает эти «измышления» Вита. Как бы то ни было, Козловский был переведен из Турина в Штутгарт и аккредитован одновременно при вюртембергском и баденском дворах. Здесь он оставался два года. Отставка его вызвана была несомненно расхождением между ним и петербургским начальством: Козловский, как мы увидим дальше, осмелился открыто поддерживать конституционные требования германских сословий в их борьбе с правительствами и даже подал в этом смысле докладную записку своему правительству.

В июне 1819 г. Козловский, по словам Пэнго, получил бессрочный отпуск. Подтверждения этой информации в других источниках мне найти не удалось, но сведения Пэнго, очевидно, основаны на архивных данных, к которым он имел доступ. Однако, в сентябре 1819 г. Козловский продолжал вести себя как будто он еще состоял на службе (см. ниже его разговор с Фарнгагеном фон Энзе). Отставка его состоялась к весне 1820 г. 11-го апреля этого года гр. Николай Пален писал графу Конфалоньери:[16] «Я забыл сообщить Вам, что Козловский отозван из Штутгарта — не знаю, почему; повидимому, он разговаривал слишком откровенно. Когда имеешь несчастье служить, надо уметь сообразоваться со своим положением». Но окончательно отставка Козловского была оформлена лишь к осени: 15/27 октября 1820 г. Козловский сообщал Нессельроде, что в этот день он имел прощальную аудиенцию у великого герцога баденского и вручил ему свои отзывные грамоты, и что и великий герцог и вдовствующая бургграфиня выразили ему свое благоволение и полное удовлетворение тем, как он выполнял свои обязанности (письмо это напечатано полностью в статье Пэнго о Козловском). Сам Козловский впоследствии приписывал свою отставку козням Меттерниха.

Выйдя в отставку и став вольным человеком, Козловский повел кочевой образ жизни, переезжая из одной страны в другую: мы видим его то в Берлине, то в Брюсселе, то в Париже, то в Италии. Везде он вхож в высшее общество и даже принят при дворе: тесные дружеские отношения связывают его с английским королем Георгом IV; его благосклонно принимают Людовик XVIII и Карл X, а позднее Людовик-Филипп, с которым он познакомился раньше; не менее близкие отношения устанавливаются у Козловского с прусским королем Фридрихом-Вильгельмом. Вместе с тем этот придворный либерал и фрондёр становится, как и его бывший сослуживец и приятель Александр Тургенев, завсегдатаем европейских политических и литературных салонов, в том числе знаменитого берлинского салона Рахели Фарнгаген. Занимается

он и публицистической деятельностью: в 1825 г., за подписью «Обитателя рейнских берегов», он печатает как бы от имени германского протестанта ответ на речь епископа Честерского, д-ра Бломфилда (Charles-James Blomfield, 1786-1857), в Палате Лордов по вопросу об эмансипации ирландских католиков; в 1830 г. в форме письма к герцогу де Брой он издает свои соображения по поводу процесса министров Карла X, который он считает незаконным; пишет также пикантную книжку под заглавием «Картина французского двора», но друзья отговаривают его от печатания уже набранной книжки.

В 1828 г., как раз когда в английском парламенте идут бурные прения по вопросу об эмансипации ирландских католиков, живо интересующему Козловского (вопрос этот был наконец разрешен герцогом Веллингтоном в 1829 г.), мы видим Козловского в Лондоне, и по всей вероятности он посещает заседания Палаты Общин. Он часто встречался также с находившимися в это время в Лондоне Александром и Николаем Тургеневыми и вел с ними оживленные беседы на политические темы. При этих беседах часто присутствовал молодой Владимир Давыдов (будущий гр. Орлов-Давыдов), племянник Дениса Давыдова, только что закончивший свое образование в Эдинбурге, где в течение трех лет он был частым гостем в доме Вальтер Скотта, и причисленный к русскому посольству в Лондоне. Факт, что молодой служащий посольства, обедавший каждый день у екатерининского вельможи, б. посла, гр. С. Р. Воронцова, встречался чуть не ежедневно с заочно осужденным по делу декабристов «эмигрантом» Тургеневым и явным оппозиционером Козловским и беседовал с ними о политике, проливает любопытный свет на тогдашние отношения.

Заграницей Козловский впал в бедность. К 1829 г. он, повидимому, стал подумывать о возможностях вернуться на государственную службу. В переписке Софии Петровны Свечиной (1782-1856), духовной дочери Жозефа де Мэстра, под влиянием которого она перешла в 1815 г. в католичество, после чего уехала в Париж, где

впоследствии ее католический салон был одним из сборных пунктов французской умственной элиты, есть интересное письмо от 12 декабря 1829 г. к графине Нессельроде, жене бывшего начальника Козловского. В этом письме мы читаем:

> . . . Тургенев [А. И.] принес мне на днях письмо князя Козловского, которое я бы хотела, чтобы Вы прочли, и которое я нашла умным и порядочно написанным. Когда знаешь этого человека и его историю, и положение и привычки, которые он себе создал, кажется почти загадкой это соединение глубокомыслия, здравых взглядов и подлинно великодушных чувств с нравственной распущенностью и отсутствием веса и меры. Это письмо обсуждает состояние Франции и в особенности положение короля, причем самый лучший из его слуг не мог бы больше оценить его добрые намерения и трудное положение. . . . Вслед за этой картиной следовали печальные признания насчет его собственного положения. Он просил Тургенева заинтересовать Вас им, и говорил, что он открылся графу Матушевичу. Он просил меня поговорить с Вами в память двух или трех месяцев, проведенных им одновременно со мной в Париже, по моем приезде во Францию, когда я часто видала его и была поражена, как и посейчас, имеющимися в нем контрастами. Повидимому, ему очень хочется вернуться на службу, и он, как впрочем все обездоленные люди, считает себя очень обиженным и приписывает свою опалу тому же источнику, к которому восходит опала графа Фридриха Палена: предубеждению, внушенному против него императору Александру князем Меттернихом . . .[17]

Из этих попыток Козловского реабилитировать себя ничего в то время не вышло. В переписке его друзей, А. И. Тургенева, В. А. Жуковского, кн. П. А. Вяземского и братьев Булгаковых, в начале 30-х годов попадаются постоянные упоминания о его бедственном положении (см. некоторые подробности об этом в Приложении II).

В салонах Козловский блещет красноречием и остроумием. С ранних лет отличаясь полнотой, он к этому времени стал не только дородным, но и просто тучным и являл собой красочную фигуру: на огромном толстом

туловище плотно посаженная голова с лицом, напоминающим, как в один голос заметили Вигель и маркиз де Кюстин, Бурбонов, с благодушной и вместе с тем насмешливой улыбкой на сочных губах.

Вот несколько живых зарисовок наружности Козловского в последний период его жизни, заграницей и в России. А. И. Тургенев в 1827 г. пишет брату Николаю из Эмса.

За обедом забавлял нас Коз[ловск]ий болтовней и аппетитом своим. Право, страшно видеть еду его—и на водах! Но поутру тронул он меня до слёз, хотя я сначала смеялся à gorge déployée его же болтовне,— тронул, описывая тебя К. Ник-е Волму [Никите Волконскому]. Вдруг родилось у него какое-то красноречие истины. Я не знал, или забыл, что он тебя коротко знает. Без штанов и едва в рубашке, без умолку, говорил он долго и, право, прекрасно . . .

Вяземский в своих воспоминаниях о Козловском[18] рассказывает, как он и Жуковский навещали больного Козловского в Петербурге и иногда заставали его в ванне, и прибавляет:

Несмотря на участие в его недугах, нельзя было без смеха видеть барахтавшуюся в воде эту огромную человеческую глыбу. Здесь можно употребить это прилагательное **огромное**, которое так часто и неуместно ныне у нас употребляется. Перед нами копошился морской тюлень допотопного размера . . .

Примерно тогда же Вяземский писал А. И. Тургеневу:

Я езжу по вечерам смотреть на Козловского в ванне. Неимоверно, что тут за чудеса раскрываются пред взорами естествонаблюдателя! Не хуже Гершелевых чудес, открытых в луне. Это что-то допотопное . . .

Менее добродушно говорит о том же времени злоязычный Вигель:

Необходимость принудила недавно Козловского посетить Петербург, и ему дивились, как всему заграничному. Мне казалось, что я вижу перед собой густую массу, которая, более тридцати лет катаясь по Европе,

получила почти шарообразный вид и, как гиероглифами, вся испещрена идеями для нас уже не новыми и множеством несогласных между собой чужих мнений, которые по клейкости её так удобно к ней приставали . . .

Наконец, маркиз де Кюстин, в 1839 г. оказавшийся спутником Козловского на пароходе «Николай I» между Травемюнде и Кронштадтом, так описывает Козловского в своей знаменитой книге «Россия в 1839 г.»:

. . . как раз когда собирались подымать якорь, я увидел, как на пароход, на котором я устроился загодя, прибыл пожилой, очень толстый человек. Он с трудом держался на своих непомерно распухших ногах. Голова его, хорошо посаженная между широких плеч, показалась мне благородной—это был портрет Людовика XVI . . .

В 1834 г. Козловский, не возвращавшийся в Россию после своей отставки в 1821 г. и не бывавший там с 1812 г., наконец отправился во-свояси. Как раз перед этим с ним познакомился—на курорте Ганау—П. А. Вяземский, который так вспоминал об этом первом знакомстве:

С первой встречи, с первых минут разговора нашего мы уже были будто старые приятели. Простое обхождение его, искренность заменили действие лет и давали настоящему свычку небывалого прошедшего. До поздней ночи проговорили мы, или, лучше сказать, прослушал я его, и тогда же записал в памятную книжку свою впечатления моего нового знакомства и многое. что слышал от него. Жаль, что эти заметки безвозвратно пропали в пожаре парохода «Николай I». На другой день рано поутру явился я к нему. Он собирался уже ехать. Я проводил и посадил его в коляску фурмана, который должен был везти его чрез Лейпциг в Варшаву. В этой же коляске взято было место и какой-то дамой, или женщиною среднего звания, и не молодою и не красавицею. Лучшее место принадлежало князю Козловскому, но он никак не согласился воспользоваться им и после долгих прений обоюдного великодушия уступил его своей спутнице и сам сел на узкой передней прилавочке. Знавшим его легко понять, что, при непомерной тучности его, подобное рыцарское самоотвержение было вместе с тем и добровольное му-

> ченичество на несколько дней. Для тех же, которые не знали его, эта черта, как она ни маловажна, может служить характеристикою. Эта черта не нашего времени; тут есть что-то **старосветское**, в хорошем значении сего слова, искаженном спесью нового поколения, которое ругается старостью. Она рисует физиономию. И в самом деле, при образованности в высшей степени современной, при направлении мыслей не только нынешних, но часто и завтрашних, князь Козловский имел во многих обычаях своих и правилах что-то Версальское, что-то 70-х годов. Женщина была в глазах и понятиях его не просто женщина, но и одна из предержащих властей в чиноположении общежития, а потому и предмет уважения. Он во всей силе принадлежал еще классической школе Расина, а не школе Бальзака. Женщина для него не перерождалась в Жорж Занд: она оставалась ла-Вальер. Так точно он был классик по многим убеждениям своим, правилам, сочувствиям и верованиям...

До Петербурга Козловский не доехал—застрял в Польше, где к нему благоволил наместник, фельдмаршал Паскевич, с которым, по словам Н. П. Барсукова, он познакомился во время путешествия вел. кн. Михаила Павловича по Европе. В Варшаве с ним произошло несчастье: внезапно сошедший с ума кучер, который вез его на обед к Паскевичу, вывалил его с коляской в овраг. Козловский сломал ногу и после того всегда должен был пользоваться костылями. Так и изображен он на воспроизводимом здесь портрете, написанном уже в 1838 г. в Петербурге Цезариной де Барант, женой французского посла в Петербурге и матерью того де Баранта, с которым два года спустя дрался на дуэли Лермонтов. Портрет этот был найден несколько лет тому назад в Лондоне А. В. Яковлевым и подарен им мне. Он вполне соответствует всем приведенным нами описаниям: на нем мы видим и тучность Козловского, и сходство с Бурбонами, и тонкую усмешку. Перед нами несомненный жуир и бонвиван (в «Парнасском Адрес-Календаре» А. Ф. Воейкова после имени Козловского дана ссылка на «календарь объядения»), но и несомненно умный и тонкий человек. Хотя по всем описаниям и рассказам о нем, Козловского и трудно представить себе женатым, он, если верить Дорову, был женат

тайно на какой-то итальянке, от которой у него было двое детей, сын и дочь. Книжка Дорова посвящена «находящейся еще в живых семье и многим верным друзьям Козловского». В переписке Вяземского с А. И. Тургеневым упоминаются вскользь жена Козловского и сын с молодой женой. По словам Дорова, дочь Козловского по его смерти получила от императора Николая I пенсию в 5000 рублей впредь до замужества. Семейной жизни Козловского касается в своей дипломатической переписке женевский дипломат Пиктэ де Рошмон, который рассказывает, что во время переговоров в Турине, когда однажды он и его коллега были у Козловского на дому, Козловский повел их к себе в спальню, чтобы показать какое-то письмо. Там в уголке сидела и читала или делала вид, что читает, молоденькая женщина, которую Пиктэ игриво характеризует так: «прехорошенькая и совсем ручная ночная птичка женского пола, которую он недавно привез из Генуи». Во время длинного разговора между Козловским и швейцарскими дипломатами она то и дело бросала взгляды на молодого коллегу Пиктэ и посылала ему улыбки. Тогда же Козловский пригласил швейцарцев к себе через день обедать «по-семейному», и в своем донесении Пиктэ прибавлял: «Мы сможем тогда вам сообщить как птичка поет». А в донесении, написанном два дня спустя, он писал: «На нашем семейном обеде у русского посланника ничего чрезвычайного не произошло. Щебетанье маленького попугая женского пола придавало приятность этому обеду . . . » По словам Пэнго, который ссылался на кн. И. С. Гагарина (иезуита), брак Козловского относится к 1809 г., т.е. ко времени его службы в Кальяри. Есть основание думать, что жена его была генуэзка. (См. в Приложении XI некоторые вновь обнаруженные мной данные о семье Козловского).

В 1835 г. Козловский появился наконец в Петербурге. Здесь произошло его знакомство с Пушкиным, и он сделался сотрудником «Современника». После долгого отсутствия ему по началу было, очевидно, не совсем по себе в России. Многие относились к нему так же, как Вигель (см. выше), подозревали его в отсутствии

патриотизма, видели в нем отщепенца, чужестранца. Вяземский так говорит об этом:

> Иные может быть и опасались Козловского и остерегались впустить в среду свою человека, отвыкшего от России, подозревая даже в нем мало к ней сочувствия. Боялись в нем либерала, острослова и даже, так сказать, несколько враждебного соглядатая того, что делается в домашней среде. Все это, разумеется, было тягостно для баловня блестящих и высших салонов Европейских, перед которым двери растворялись везде настеж и знакомства которого жадно искали государственные люди, и просвещенные вельможи, и блестящие представительницы Европейской любезности и утонченного общежития.

Но тот же Вяземский говорит, что появление Козловского в петербургских салонах

> произвело в них сильное движение; он занял в них место до него вакантное: место говоруна, разговорщика... Нá дипломатических обедах, на вечеринках литературных, в блестящих и многолюдных собраниях, в отдельном и немногим доступном избранном и высшем обществе, голос князя Козловского раздавался неумолкно. Жадно собирались около него и наслаждались доселе неведомым удовольствием. Употребляя пошлое сравнение и чисто Русскую поговорку, можно сказать, что тогда «звали на князя Козловского», как в старину Московские бригадиры звали на жирную стерлядь; даже карточные столы, сии четвероместные омнибусы нашего общества, получасом позже обыкновенного заселялись своими привычными и присяжными заседателями. Казалось, что вдруг, неожиданно сделано новое открытие: открытие дара слова, и все спешили хотя мимоходом полюбоваться сим новым изобретением.

Успеху Козловского в петербургском свете много способствовало также благоволение к нему со стороны вел. кн. Михаила Павловича и его супруги, Елены Павловны. Но прежде всего своим успехом Козловский был обязан своему необыкновенному «говорильному» таланту. Процитирую опять красочную характеристику Вяземского:

> ...князь Козловский жил не даром. Частью шутя,

но частью и с твердым убеждением он уверял, что ему определено на земле одно назначение, что он облечен одним призванием, что он послан был Провидением: говорить. И в самом деле: кто имел случай слушать его, кто имел счастие испытать сколько было увлекательности, силы и прелести в речи его, тот готов согласиться с ним, что он точно угадал призвание свое. Дар слова был в нем такое же орудие, такое же могущество, как дар поэзии в поэте, дар творчества в художнике. Оратор, не из тех, кому нужна трибуна, приготовленная сцена, приготовленная публика, которые, ораторствуя, играют роль, или несут повинность, он был оратором ежедневным, ежеминутным, всегда готовым, всегда послушным внутреннему или внешнему призванию, всегда повелительным над вниманием своих собеседников. Вопросы истории, политики современной, науки и литературы, общежития, нравственности равно потрясали тонкие и раздражительные фибры его интеллектуальности и разрешались внезапными, светлыми и живыми импровизациями. Всё соединилось, чтобы дать слову его жизнь, силу и краску. Ум его был проницательный и восприимчивый. Он мог и углубляться в предметы и вместе с тем слегка и приятно скользить по одной их опушке. В словах его были и достоинство ценности, и красивость отделки: то есть мысль и выражение. Вспомогательные средства были также обильны: большая начитанность, тесное знакомство со всеми европейскими знаменитостями и память удивительная. Ко всему этому прибавьте: смелость своих мнений; вопреки отзыву Талейрана, что слово есть маска мысли, в нем слово было живой, горячий отпечаток мысли его, какая ни была бы сия мысль .

В другом месте Вяземский писал:

. . . истинное торжество князя Козловского, лучшая сцена для него была приятельская простая беседа. Тут, разрешившись от удушливого ига, то-есть развязав галстух свой, с умом и одеждою на распашку, развалившись на покойных креслах, которые служили ему треножником Пифии, и с неугасимою сигаркою во рту, давал он волю своей обильной и разнообразной импровизации.

Вяземскому вторит Александр Тургенев:

Ум и сведения делают его болтовню не болтовнею, а блистательным монологом . . .

О таланте Козловского, как говоруна и рассказчика, свидетельствуют и знавшие его иностранцы, в том числе маркиз де Кюстин, которого Козловский на борту «Николай I» в течение всего перехода от Травемюнде до Кронштадта занимал своими рассказами и рассуждениями (к взглядам Козловского, развитым им Кюстину, я еще вернусь). Предание говорит, что Козловский сочинил целый роман, который ему было лень положить на бумагу и который он рассказывал своим друзьям. В романе этом, из современной русской жизни, он старался доказать, что крепостное право невыгодно для помещиков. Сам Козловский уверял Вяземского, что он не умеет писать, а умеет только говорить: «Буквы алфавита путают мои мысли». Разумеется, это было преувеличением—писания Козловского, и русские и французские, свидетельствуют о незаурядном литературном таланте, оцененном, как мы знаем, Пушкиным, а также и человеком старшего поколения, И. И. Дмитриевым. В молодости Козловский писал, как почти все его современники, и стихи и даже напечатал две оды: на выздоровление кн. А. Б. Куракина и на восшествие на престол Александра I. Молодым человеком он перевел также гётевского «Вертера», которым зачитывалось его поколение. Из французских его писаний Доров сохранил для потомства отрывок из его мемуаров, а также воспроизвел два уже упоминавшихся политических памфлета. Полная рукопись воспоминаний Козловского, упоминаемых Кюстином, к сожалению до сих пор не обнаружена. Не дошел до нас и его исторический труд, написанный им в Сардинии (вероятно, по французски)—о владычестве генуэзцев в Крыму. В архиве русского министерства иностранных дел должно храниться много депеш—и французских, и русских—Козловского; кое-какие из них опубликованы в русско-французском томе «Литературного Наследства» в связи с русскими отношениями де Мэстра и г-жи де Сталь. Но, конечно, писательство не было настоящим призванием Козловского (неслучайно, что, по словам Вяземского, все свои статьи он всегда диктовал), и по настоящему его дарование находило себе выход именно в живом слове. В стране с конституционным режимом—а такой, как мы увидим, Коз-



Кн. П. Б. Козловский в 1838 г.
С акварели работы Цезарины де Барант
Собств. Г. П. Струве

ловский мечтал видеть Россию—он мог бы стать выдающимся парламентским оратором.

В Петербурге Козловский вновь поступил в министерство иностранных дел и был назначен в Варшаву в распоряжение своего благоприятеля Паскевича, который полюбил Козловского и, по словам Вяземского, просиживал с ним ежедневно в своем варшавском кабинете по нескольку часов сряду далеко за полночь. Назначению Козловского к Паскевичу способствовал английский посол в Петербурге, лорд Дарам.[19] Симпатии к Польше побудили его в 1836 г. предпринять перед русским правительством шаги для того, чтобы добиться смягчения русской политики в Польше. На эту тему Дарам имел несколько бесед с Нессельроде и Паскевичем. Беседы эти увенчались неожиданным, хоть и скорым успехом. 11-го июня 1836 г. в донесении министру иностранных дел Пальмерстону Дарам писал:

> Я несколько раз в разное время разговаривал с графом Нессельроде, а также с фельдмаршалом Паскевичем о Польше и убеждал их обоих, насколько это допускала щекотливость предмета, установить возможно более мягкое и примирительное правление в этой несчастной стране.
>
> С фельдмаршалом Паскевичем у меня был длинный разговор перед его отъездом в Варшаву. Я убеждал его использовать все возможности для того, чтобы публично опровергнуть, на деле и на словах, распространявшиеся по всей Европе и внушавшие веру сообщения о русских строгостях. Я напомнил ему, что в наше время, когда общественное мнение всемогуще и вездесуще, никакое правительство не может прикрываться тем, что называется достойным молчанием, или воздерживаться, прямо или косвенно, от объяснений и опровержений, которых требуют его честь и репутация. Его превосходительство не возражал на эти рассуждения; напротив, он заявил, что высказал такое же мнение своему правительству.
>
> Некоторое время спустя князь Козловский сообщил мне, что император причислил его к Совету фельдмаршала и что он собирается проследовать в Варшаву. Князь был раньше русским посланником в Турине, но в последнее время был не у дел. В прошлом году он

прожил некоторое время в Варшаве, был в очень близких отношениях с фельдмаршалом и, согласно сообщениям полковника Барнетта, неизменно и успешно употреблял свое влияние в пользу поляков. Он замечательно хорошо говорит и пишет по английски и по французски, и у меня есть основания думать, что он получил это назначение, дабы облегчить передачу тех объяснений, о которых я говорил выше.

Я заявил вчера графу Нессельроде, что едва ли что могло бы так поднять уважение английского правительства и народа, как проявление мягкой и благожелательной политики в управлении Польшей.

Биографы лорда Дарама утверждают решительно, что Козловский слыл другом и сочувственником поляков. По словам одного из них, Дарам находился в сношениях с ним до конца своего пребывания в России (1837 г.). Известна еще одна депеша Дарама Пальмерстону, в которой идет речь о Козловском (от 18 июня 1836 г.).

Донесения Дарама показывают, что назначение Козловского в Варшаву состоялось еще летом 1836 г., но возможно, что уехал он лишь к осени.

Последние три года своей жизни Козловский, видимо, провел в Польше, наезжая однако в Петербург и бывая заграницей. В Варшаве он пользовался большими симпатиями в польском обществе, стал изучать польский язык — едва ли по необходимости, ибо наверное мог легко обойтись и с французским — и сделал в нем, по словам Дорова, большие успехи. Согласно Вяземскому, Козловский «оставил по себе в Варшаве самое сочувственное предание... Образованные Поляки и особенно Полячки очень чутки к умственным и блестящим способностям благовоспитанного человека... Варшавское общество не могло не оценить превосходство Козловского и не увлечься прелестью его...» Стяжал себе Козловский симпатии поляков и тем, что постоянно заступался за отдельных лиц перед наместником. Так, по его ходатайству была восстановлена пенсия генералу Кинскому, который был лишен ее только за то, что воздвиг памятник на могиле своего друга, участника восстания 1831 г. Вообще, по

определению Вяземского, Козловский был при Паскевиче «род подушки (именно подушка, да еще какая!), которая служила иногда к смягчению трений, неминуемо бывающих между властью и власти подлежащими». Сам Паскевич метко называл его «присяжным защитником проигранных тяжеб». Вяземский в 1868 г. писал, что в новейшее время он наверное прослыл бы «полякующим». Интересно, что еще в XVI в. один предок Козловского был, при довольно необычных обстоятельствах, «почтен общим уважением» в Польше (см. Приложение I: «Род князей Козловских»).

Для Паскевича Козловский составил блестящий доклад о состоянии польской промышленности, для чего сам объездил промышленные районы Польши. При этом Козловский, считая Паскевича великим военным гением, говорил, что кроме войны и всего, что до нее касается, ум его был мало доступен каким-либо предметам, и вопросы финансов, промышленности и т. д. плохо давались ему.

Летом 1840 г. Козловский отправился в Германию лечиться. В сентябре с ним встретился в Баден-Бадене В. А. Муханов, оставивший интересную запись в дневнике об этой встрече (см. Приложение II). А месяц спустя, 14/26 октября 1840 г., Козловский там же скончался — повидимому, от водянки. При конце его присутствовали жена и дети. Над могилой его на баден-баденском кладбище, где в том же году была похоронена одна из дочерей Вяземского, друзьями был воздвигнут памятник. А. И. Тургенев, повидимому, произнес на погребении своего старого товарища и друга надгробное слово (см. в Приложении II).

2

«Декабрист без декабря»: либерализм Козловского

Про Козловского, думается, можно сказать, что он был человеком не ко времени и не к месту. Еще Вяземский подметил, что «в нем был и герцог Версальского двора, и Английский свободный мыслитель». Как и в самом Вяземском, который дожил почти до конца XIX века, в нем было много от XVIII века. Но эта старина сочеталась с новизной, с передовыми взглядами, с тем, что Вяземский так метко назвал «завтрашним» направлением мысли. А.И. Тургенев говорил о «врожденном Европеизме» Козловского. С другой стороны Вяземский подчеркивал его русское добродушие и говорил о его чисто русском легкомыслии. В данном случае можно усомниться в правоте Вяземского: легкомыслие это было скорее того французского типа, по поводу которого Чаадаев, кое в чем, как мы увидим ниже, родственный Козловскому (но отнюдь ни в каком смысле не «легкомысленный») писал: «Это отнюдь не то легкомыслие, в котором когда-то упрекали французов и которое к тому же было лишь легким способом постижения вещей, не исключавшим ни глубины, ни духовной широты и вносившим бесконечное изящество и очарование в общество».

Была в Козловском и чисто русская барственность, сочетавшаяся с русской же халатностью и безалаберностью, как видно из следующего, даваемого Вяземским, описания обстановки, в которой Козловский жил в Петербурге:

> До цинизма доходящее неряшество обстановки комнаты его было изумительно. Тут уж не было ни малейшего следа, ни тени англомании. Он лежал в затасканном и засаленном халате; из-за распахнувшихся хала-

та и сорочки выглядывала его жирная и дебелая грудь. Стол обставлен и завален был головными щетками, окурками сигар, объедками кушанья, газетами. Стояли склянки с разными лекарствами, графины и недопитые стаканы разного питья; в нелицемерной простоте виднелись здесь и там посуда, вовсе не столовая, и мебель, вовсе не салонная. В таком беспорядке принимал он и дам, и еще каких дам, Господи прости! Самых изящных и самых высокорожденных...

Я бы сказал, что Козловский родился и слишком поздно и слишком рано. Но это не значит, что он был просто «лишним человеком», как могут подумать некоторые, или просто краснобаем. Он был русским европейцем—«русским, разжиревшим на цивилизации», как метко выразилась про него г-жа де Сталь. Не притязая на какую-нибудь законченную философию или систему политических взглядов, он имеет право на место в истории русской мысли, как западник avant la lettre, как русский либерал европейского пошиба, чувствовавший себя дома в современной ему Европе.

Либералом назвал Козловского Вяземский. Либералом называл он и сам себя. По словам графа де ла Гарда, он шутя рассказывал, что впервые на путь либерализма его наставил безымянный австрийский почтальон, который вез его, тогда совсем молодого дипломата, где-то на границе Австрии и Пруссии. Козловский, который торопился и находил, что почтальон везет его недостаточно быстро, ударил его. В ответ он получил несколько здоровых ударов хлыста. «Этот австриец—говорил Козловский—и преподал мне первый урок либерализма». Де ла Гард характеризует Козловского, как «сторонника всяческого прогресса».

О либерализме Козловского свидетельствует и следующий забавный эпизод, происшедший в Генуе, когда Козловский еще занимал пост посланника при сардинском дворе. Двое его коллег, князь Штаремберг и герцог Дальберг,[20] решили сыграть первоапрельскую шутку над разными своими знакомыми. От имени Козловского они послали англичанке, мисс Берри, знаменитой приятельнице Горация Уольполя (она была старше Козловского

на 20 лет), игравшей видную роль в космополитическом свете на континенте (в числе её близких русских знакомых была, между прочим, кн. Зинаида Волконская), приглашение к утреннему завтраку, а Козловскому от её имени письмо с просьбой помочь ей, как жертве политического преследования—очевидно, со стороны австрийских властей. Повидимому, Козловский принял эту просьбу всерьез—во всяком случае он ответил следующим характерным для него письмом, впервые здесь публикуемым: [21]

Даже если бы мне пришлось пятьдесят раз себя скомпрометтировать в глазах всех правительств мира, начиная с моего собственного, я сделаю все зависящее от меня в Вашем деле. Я готов слепо повиноваться моему Государю во всем, что касается интересов его государства в отношении других государств, но в отношениях личных я считаю необходимым прежде всего повиноваться Господу Богу. Я всеми силами души ненавижу подлость, с которой правительства ведут войну против мнений бедного безоружного человека, имеющего несчастье мыслить иначе, нежели их придворные, получающие столько-то копеек в день за свою лесть им. Я понимаю всю важность соблюдения тайны, тем более, что уже более трех раз просил нашего друга отказаться от даваемых ему миланским правительством поручений и не успел в этом. Итак, я вполне готов. Укажите мне удобный для Вас час — как, например, насчет 2 ч. дня?

Повергаю себя к Вашим ногам.
Князь Козловский.

Впрочем, сама мисс Берри как будто не принимала всерьез взглядов, которые с таким блеском и вместе с тем с таким напускным цинизмом проповедовал Козловский, и год спустя после этого эпизода записала у себя в дневнике:

Сегодня утром я обошла с Дж. К. Негро всех букинистов и старьевщиков Генуи, у которых могла надеяться найти книги или гравюры, могущие мне пригодиться для моего «Лоренцо ди Медичи».[22] Нашла очень немногое. Козловский встретил нас на улице и проводил к одному из книжников. Он завязал со мной спор об идеях Роско [23] и о заключениях, к которым привели

того эти идеи в его «Жизнеописании Лоренцо», а с этого перешел на общие принципы управления. Сегодня он отстаивает гнусную олигархию; завтра, быть может, будет за нелепую демократию. Что за голова, а между тем сколько ума! [24]

Гораздо серьезнее отнесся к Козловскому Фарнгаген фон Энзе (1785-1858), либеральный прусский чиновник и публицист, большой поклонник русских и русской литературы, один из первых в Европе оценивший должным образом гений Пушкина.[25] Фарнгаген познакомился с Козловским летом 1819 г., когда тот, в качестве русского посланника при вюртембергском и баденском дворах, приезжал в Карлсруэ на торжества по случаю бракосочетания маркграфа Леопольда Баденского с принцессой Софией Шведской. По началу Козловский поразил своего прусского коллегу (Фарнгаген был представителем Пруссии в Бадене) лишь чисто внешними качествами: мастерским владением иностранными языками, глубоким знакомством со всем, что было лучшего в европейской литературе, светскостью и эксцентричностью. Многие из знавших Козловского ничего другого за этими внешними дарованиями и не видели и считали его чудаком и повесой. Более высокие стороны души Козловского ускользнули тогда и от Фарнгагена, по его же признанию. Но осенью того же года, когда Фарнгаген, уволенный со своего поста, проживал в Баден-Бадене, они снова встретились и на этот раз близко сошлись и остались друзьями до самой смерти Козловского. В своих воспоминаниях Фарнгаген рассказывает, что однажды на прогулке он встретил запряженный четверкой взмыленных лошадей экипаж Козловского — последний славился своими выездами. Козловский вылез, отослал экипаж и присоединился к Фарнгагену. Между ними завязался политический разговор, причем Козловский стал развивать взгляды, которых Фарнгаген никак не ожидал от русского дипломата. Он защищал позицию южно-германских сословий в их борьбе с правительствами за конституцию, называл политику правительств пагубной, хвалил отдельных депутатов, говорил о перспективах, от-

крывающихся перед Германией при установлении в ней парламентского строя. Он отказывался признавать наличие в народе духа возмущения, видя лишь искреннее стремление к насущным и давно обещанным реформам и улучшениям. С красноречием достойным Мирабо—говорит Фарнгаген—он обрушился на прусский и венские дворы, от которых нельзя было, по его словам, ждать ничего хорошего, и особенно на Меттерниха, которого знавал лично по Венскому и Ахенскому Конгрессам. Вся речь Козловского была подобна фейерверку: искры так и сыпались во все стороны. Прощаясь, Фарнгаген шутливо заметил, что Козловский и сам разделяет оплакиваемую им участь немцев, ибо лишен парламента, в котором мог бы дать волю своему мощному ораторскому дарованию. На это Козловский с живостью воскликнул: «Русский парламент, дорогой мой! Это было бы новой эпохой в мировой истории. Она и наступит—но когда? Император в свой речи в Варшаве обещал нам это. Однако, и предсказания пророков сбываются с запозданием, что же касается обещаний императоров и королей, не будем о них говорить!»

Фарнгаген тут же прибавляет, что вскоре убедился, что был несправедлив к Козловскому, принимая эти либеральные речи за простые словесные излияния, ни к чему не ведущие. На самом деле они вытекали из глубоких убеждений и сильных чувствований, и Козловский не стеснялся бесстрашно высказывать свои взгляды, даже когда это могло грозить ему неприятными последствиями (Вяземский тоже подчеркивал, что Козловский имел «смелость своих мнений»). Как глубоко и серьезно Козловский чувствовал, как близко к сердцу принимал благо России, обнаружилось, по словам Фарнгагена, когда распространился слух о внезапной смерти Александра I во время путешествия по Финляндии. Никто из русских в Баден-Бадене не был так потрясен этим слухом, как Козловский. «Все наши надежды — говорил он — были связаны с Александром, теперь в России наступит железная эра, на которую мы можем взирать лишь с ужасом. Эта преждевременная смерть отбрасывает нас и, поверьте,

всех вас на полвека назад». Когда ложный слух был опровергнут, Козловский радовался больше всех. Отчасти в связи с этим эпизодом, боясь, что после смерти императора Александра может быть уже поздно, он занялся составлением длинного меморандума на французском языке о положении дел в Южной Германии. Делал он это с прилежанием и усердием, которых трудно было от него ожидать; работал по ночам. Целью меморандума было открыть русскому правительству и особенно самому императору глаза на истинное положение вещей, на пагубность политики Меттерниха и на вздорность распространенного в Петербурге убеждения о царящем в населении революционном духе. По мере написания меморандума Козловский читал его Фарнгагену, и последний говорит, что это было произведение мастерское и по содержанию и по изложению (вероятно, оно сохранилось в архивах русского министерства иностранных дел). Козловскому удалось убедить двух своих коллег — очевидно, представителей России при других германских дворах (Фарнгаген не называет их)—подать правительству аналогичные мнения. В ответ Нессельроде уведомил всех троих, что мнения их противоречат взглядам императора, и предложил им взять их обратно. Один из троих уступил этому требованию, Козловский и другой отказались и после затянувшейся больше чем на год официальной переписки вынуждены были подать в отставку, причем Козловский предпочел вообще покинуть дипломатическую службу.[26]

Уже после смерти Козловского (в 1843 г.) Фарнгаген познакомился в Киссингене с «его великой княгиней», как он говорит, т.е. с вел. кн. Еленой Павловной, супругой вел. кн. Михаила Павловича, и разговаривал с ней о Козловском. Она говорила ему о своей симпатии к нему, жалела о его преждевременной кончине и подчеркивала как полезен он был в Петербурге, как много хорошего сделал, как часто говорил смелые вещи, которых никто другой не посмел бы сказать. По её словам, император Николай I, вначале не благоволивший к Козловскому, под конец жизни тоже оценил его.

В отрывке из воспоминаний Козловского, напечатанном у Дорова, есть следующее характерное место, где рассказывается о пребывании Николая I, тогда еще великого князя, летом 1824 г. в Мекленбурге (характеристику самого Николая I в этом отрывке см. в Приложении VIII):

Среди лиц, сопровождающих великого князя, имеется находящийся у него на службе врач-шотландец.[27] Никогда я так не радовался знанию английского языка, как беседуя с этим человеком. Эти нотки свободы падали как благотворная освежающая роса на мое сердце, все еще исполненное сознанием лицезрения брата моего господина, того господина, который может, когда ему заблагорассудится, распорядиться не только моим животом и имением, но и моей честью и моим именем на будущие времена! Как все же плохо образованы эти государи, которые отталкиваются от людей, обвиняемых в английском либерализме! Тот, кто пропитан влиянием этой благородной страны, всегда будет самым полезным слугой и самым лояльным верноподданным. Ни в одной стране в Европе права государей не имеют такой санкции. Нигде их так не почитают, как поруку общественной безопасности, как живые эгиды, оберегающие общественный порядок против дерзких посяганий честолюбия; но почитают без самоунижения, без отказа от собственных прав, а главное не терзаясь страхом — в этом вся разница. Только в Англии мог Шекспир сам от себя найти, без помощи Горация, тайну характера достойного человека, которую поэт древности выразил в словах более выспренних, но не более сильных (см. оду Justum ac) — вот эти два стиха Шекспира:

Я не стану льстить Нептуну из-за его трезубца,
Ни Юпитеру из-за его силы громовержца!

Маленькая княгиня Сольмс, дочка герцогини Кумберлэндской, говорила мне в Теплице, что как-то невольно недолюбливает русских. «Почему же, княгиня?» — «Потому что у них такой приниженный, такой фальшивый, такой придворный, такой принужденный вид. С ними не чувствуешь себя просто, и я не знаю что им говорить». Можно ли было вообразить, что под этим хорошеньким личиком, в этой маленькой сдержанной женщине, может зародиться столь глубокое политическое наблюдение? Чтобы объяснить это, понадобились бы томы, и я хотел попробовать доказать ей, что

мы такие же люди как и все, и что то, что она принимает за черту характера, есть лишь поза; но так как то, что я хотел сказать, нельзя было выразить в нескольких словах, и так как я не люблю поражать слух женщины длинными речами, которые более или менее раздражают её, то я ограничился тем, что заметил: «Какая английская мысль!» Сэнт-Хеленс [28] был единственным иностранцем, который понял.

В этом исповедании веры либерала-англомана сказалось отвращение Козловского ко всякому абсолютизму, ко всякому стеснению личной свободы, особенно свободы мыслить. Но вместе с тем мы находим здесь и разительное опровержение выдвигавшихся против Козловского обвинений в нерусскости, в отсутствии патриотизма, в презрении к русскому народу. Козловский был прежде всего свободолюбцем. Долгое пребывание заграницей и преклонение перед тем сочетанием законности и свободы, которое он видел в Англии, сделали его нетерпимым ко всяким проявлениям произвола в России. А. И. Тургенев имел, может быть, право писать, что больно слушать то, что Козловский говорит о России, но прав был и его брат, который называл Козловского, на старинный, немного карамзинский, манер, «чувствительным патриотом».

Маркиз де Кюстин в своей знаменитой книге «Россия в 1839 году», вышедшей уже после смерти Козловского, прямо называет Козловского «либеральным русским князем». Книга Кюстина подверглась со стороны русских чрезмерным, не вполне заслуженным нападкам —на неё были вылиты ушаты грязи. При всех ошибках Кюстина, при всех его пристрастных и поверхностных суждениях, при всей «стилизации», в его характеристике николаевской России было много верного и меткого, и это должна была признать в разговоре с Фарнгагеном даже вел. кн. Елена Павловна.[29]

Беседам и рассказам Козловского в книге Кюстина посвящены почти целиком две главы («Письма» пятое и шестое).[30] В первом же разговоре Козловский заявил Кюстину, что он, Кюстин, не принадлежит ни своему времени ни своей стране, ибо он «враг слова как поли-

тического рычага». Кюстин согласился, сказав, что во Франции свобода слова опасна, ибо там мало людей с достаточно твердым характером, чтобы не жертвовать своими мнениями ораторскому тщеславию. «А между тем—с горячностью отвечал Козловский—слово это всё, в слове проявляется весь человек и даже нёчто высшее, чем он сам: слово божественно!» Козловский сослался на пример Каннинга, когда «политическое слово что-то да значило». На возражение Кюстина, что слово часто ведет к торжеству близоруких взглядов и пошлых идей за счет высоких мыслей и продуманных планов, и что в Англии парламентские формы были лишь маской олигархии и породили много зла, Козловский возразил: «Однако, людей приходится вести либо страхом либо убеждением», ясно давая понять, что он за «убеждение». Кюстин опять стал возражать ему, ссылаясь на великие дела Наполеона, красноречие которого всегда обращалось к отдельным лицам, а не к массам: «Обсуждать законы публично—добавил он—значит наперед отнимать у закона уважение, из которого проистекает его мощь». В ответ Козловский обозвал его тираном. «Напротив—ответил Кюстин—я боюсь адвокатов и их подголосков, газет, которые суть те же слова, чье звучание длится целые сутки—вот тираны, угрожающие нам ныне». Вот, в передаче Кюстина, конец этого любопытного спора о представительном образе правления и о свободе слова и печати:

Козловский:— Приезжайте к нам — вы научитесь бояться иных.

Кюстин:— Как вы ни старайтесь, князь, вам не удастся внушить мне дурное мнение о России.

Козловский:— Не судите о ней ни по мне ни по тем русским, которые много путешествовали: при гибкости нашего характера мы делаемся космополитами, как только выезжаем от себя, и это расположение умов само по себе уже есть сатира на наше правительство.

Тут, по словам Кюстина, Козловский, несмотря на свою привычку говорить откровенно обо всем, «испугался меня, себя самого и особенно других и пустился в довольно туманные рассуждения».[31]

3

Единомышленник Чаадаева: взгляды Козловского на судьбы России

Еще интереснее длинный разговор между Козловским и Кюстином на борту того же «Николая I», в котором Козловский подробно развил свой взгляд на Россию, ее прошлое, настоящее и будущее. Идеи Козловского во многом напоминают чаадаевские, с которыми Кюстин был знаком, и не исключена поэтому возможность, что он приписал Козловскому некоторые из мыслей Чаадаева, но в общем мне это представляется маловероятным — вероятнее, что приводимые Кюстином суждения принадлежат самому Козловскому: во-первых, мы находим в них многое, чего у Чаадаева нет; во-вторых, даже при аналогичном ходе мысли ударение часто другое; в-третьих, Кюстин, повидимому, все свои разговоры во время путешествия записывал по свежим следам и, даже если иногда и стилизовал мысль собеседника, в основном передавал ее правильно; наконец, в-четвертых, мы знаем, что Козловский еще задолго до Чаадаева высказывал некоторые сходные с чаадаевскими мысли, что дало основание редактору «Дневников» Н. И. Тургенева, проф. Е. И. Тарасову, заметить, что Козловский «предвосхитил идеи Чаадаева»,[32] а многим русским современникам Козловского — повод для обвинения его в отсутствии патриотизма. Так, Н. И. Тургенев записал у себя в дневнике по поводу встречи с Козловским в Риме 15/29 ноября 1811 г.:

> . . . Он меня очень удивил своими рассуждениями о характере народов. Я думаю, что долгое пребывание в чужих краях есть подлинно зараза для многих Русских: они неприметно переменяют образ мыслей о всём, даже и об отечестве. Но меня, кажется, таковые примеры тем

более укрепляют в любви к этому божественному идеалу, усиливают высокое мнение о характере Русском и подтверждат справедливость моего мнения. Естьлибы примеры свыше были противные, то у нас бы гораздо менее было сих явлений, кот[орые], не делая стыда целому, делают презрительными этих нещастных, кот[орые], заблудившись в лабиринте мнений некоторых ложно мыслящих несмысленных иностранцев, продолжают кружиться под их влиянием без цели, без правил и, так сказать, с завязанными глазами, не хотя обращать никакого внимания на бесчисленные примеры кот[орые] легко могут опровергнуть все их пустые умствования. Нещастны, нещастны те, кот[орых] кровь не волнуется при мысли об Отечестве, и которые хладнокровно смотрят на происшествия, действующие на судьбу оного. Человек может всего лишиться: имения, друзей, родных; но Отечество для него всегда остается. Благо оного может его утешить, и при собственном нещастии он отрет горькие слезы, видя Отечество в благоденствии. Благо общее заменяет для него благо частное . . .

В письме брату Сергею, писанном в тот же день, Тургенев несколько уточнил взгляд Козловского, добавив также некоторые личные подробности:

> . . . Ты, думаю, его помнишь: сделался еще толще. Я его точас узнал. Он конечно меня узнать не мог. Он очень обрадовался сей встрече, позвал меня ехать с собою в его трактир. Там проболтали мы до третьего часу ночи. Он уже 7 лет из России. Все спрашивал о новостях литературы и об экзаменах. Французский император дал ему недавно крест легиона 2-го класса за то, что он спас несколько французских генералов и дал им паспорты. Я с ним много спорил и спросил о таких предметах, которые никакому сомнению не подвержены: он утверждает, что Русский народ никакого характера не имеет. [Разрядка моя — Г. С.] Вот, брат, как и неглупые люди заблуждаются . . .

Дальше Н. И. Тургенев более кратко, но почти в тех же словах, что и в дневнике, характеризует это «ложное мнение». Пламенно-патриотическая реакция Тургенева на рассуждения Козловского напоминает реакцию русского общества на «Философическое письмо» Чаадаева. Но не-

сколько позже, попав в Россию, Тургенев вспомнил свой разговор с Козловским и уже совсем иначе отозвался на него. В московской дневниковой записи, датированной 6 марта 1812 г., мы читаем:

> Вот уже три недели как я здесь, и по сию пору не опомнился. Многое показывается мне здесь в таком виде, в каковом кн. Козл[овский] представлял мне дорогою. Незначущие лица, на которых видна печать рабства, грубость, пьянство — все уже успело заставить сердце обливаться кровью и желать возвращения в чужие краи. Непросвещение высших классов также действовало на произведение последнего желания . . .

Позже, в 1817 г., Тургенев в следующих словах оценил и либерализм и патриотизм Козловского:

> . . . я душевно люблю во многих отношениях пустого Козлов[ского] за то, что, говоря ему однажды в Вене об участи наших единоземцев простого класса, я заметил слезу в глазах его. Эта слеза пала на мое сердце и запечатлела во мне твердое доброжелательство к чувствительному патриоту.

А Козловский, уже после декабрьского дела, не только с уважением, но даже и с энтузиазмом, отзывался о Николае Тургеневе, как свидетельствует в письме к последнему (из Эмса в 1827 г.) брат его Александр, и говорил, что Н. И. Тургенев и в Англии был бы «человеком государственным». Козловского, пожалуй, трудно представить декабристом, но по существу, особенно если мы припомним то, что говорит Фарнгаген о защите им представительного строя, о надеждах на будущий русский парламент, к нему не меньше, чем к Вяземскому, подошло бы определение «декабрист без декабря».

Но вернемся к разговору Козловского с Кюстином. К прошлому и настоящему России Козловский подходил как настоящий западник и притом как католик. Отправная точка зрения его была та же, что у Чаадаева. Чаадаев не был католиком, но во всяком случае в период писания им т. н. «первого» «Философического письма» симпатии его к католичеству совершенно несомненны. Нельзя отрицать и западничество исходной позиции Чаадаева. В недавно

напечатанной в парижском журнале «Возрождение» (№ 4) статье о Чаадаеве Е. В. Спекторский погрешил, на мой взгляд, тем самым, в чем он упрекает Герцена: Герцен стилизовал Чаадаева под революционера — несостоятельность этого взгляда была разоблачена еще покойным М. О. Гершензоном; Спекторский причесывает Чаадаева под Достоевского и явно недооценивает его западничество. Подчеркивать западническую точку зрения Чаадаева не значит приравнивать его к позднейшим западникам, которым осталось чуждо религиозное сознание Чаадаева.[33] У Козловского западничество проявлялось еще более определенно и резко. Пока не будет найдена переписка Козловского с его русскими друзьями (сейчас мы имеем главным образом письма его к иностранцам), основным выражением его западнического кредо и его взгляда на Россию останутся его заявления Кюстину. Для характеристики взглядов Козловского они весьма существенны. Вот как излагает Кюстин точку зрения Козловского:

> Россия отстоит сегодня всего на четыреста лет от нашествия варваров, тогда как Запад пережил такой же кризис четырнадцать столетий тому назад: культура, которая на тысячу лет старше, кладет несоразмеримое расстояние между нравами народов. За много веков до вторжения монголов скандинавы послали к славянам, тогда совсем еще диким, вождей, которые правили в Новгороде Великом и в Киеве под именем варягов. Эти чужеземные герои, явившиеся с малочисленной дружиной, были первыми князьями на Руси, и их дружинники положили начало древнейшей знати в стране. Варяжские князья, эти своего рода полубоги, управляли этим, тогда кочевым, народом. В то же время византийские императоры и патриархи передали ему свой вкус к художествам и роскоши. Таков был, если мне позволено будет так выразиться, первый слой культуры, которая подверглась порче под пятой татар, когда появились эти новые завоеватели Руси.
>
> Великие образы святых мужей и жен, этих первых законодателей христианских народов, просияли в баснословные времена на Руси. Могущественные князья своими суровыми доблестями облагораживают раннюю эпоху славянской истории. Память о них прорезает эту глубокую тьму подобно звездам, сверкающим сквозь

тучи в грозовую ночь. Самый звук этих странных имен будит воображение и возбуждает любопытство. Рюрик, Олег, княгиня Ольга, святой Владимир, Святополк, Маномах – всё это личности, чей характер не больше, чем их имена, напоминает великих людей Запада. В них нет ничего рыцарского, это — библейские цари. Народ, который они прославили, остался соседом Азии: оставшись чужд нашим романтическим идеям, он сохранил ее патриархальные нравы.

Русские вышли не из той блестящей школы верности (bonne foi), которой рыцарская Европа сумела настолько хорошо воспользоваться, что слово честь надолго стало синонимом верности слову и что честное слово доныне еще есть нечто священное, даже во Франции, где так много позабыли! Благородное влияние рыцарей-крестоносцев остановилось в Польше, как и влияние католичества. Русские воинственны, но ради завоеваний. Они воюют из повиновения или из корысти. Польские рыцари воевали из любви к славе. Поэтому, хотя в начале эти два народа, вышедшие из одного и того же корня, имели много общего между собой, исторический итог, в котором воплощается воспитание народов, провел между ними столь глубокую грань, что русской политике понадобится больше столетий, чтобы слить их снова воедино, чем религии и общественному строю понадобилось, чтобы их разъединить.

В то время как Европа едва переводила дух после вековых попыток вырвать Гроб Господень из рук неверных, русские платили дань магометанам, продолжая между тем получать от Византийской Империи, согласно ранее усвоенной привычке, её художества, её нравы, её науку, её религию и её политику, с её традициями лукавства и обмана, равно как и ее отталкивание от латинских крестоносцев. Если вы поразмыслите над всеми этими религиозными и политическими данными, вы перестанете удивляться и тому как мало веры можно давать слову русского, и тому духу лукавства, которое в сочетании с ложной византийской культурой царит в общественной жизни в империи царей, этих счастливых преемников ставленников Батыя. Абсолютный деспотизм, царящий у нас, зародился в момент, когда в остальной Европе происходила отмена крепостного права. Со времени монгольского нашествия славяне, до того один из самых свободных народов в мире, стали рабами, сначала завоевателей, а потом собственных князей. Тогда-то у них установилось крепостное право

не только как факт, но и как основной закон общественного устройства. При нем человеческое слово пало до того низко, что оно стало рассматриваться лишь как западня: наше правительство живет ложью, ибо правда равно страшна тирану и рабу. Поэтому, как бы мало ни говорили в России, там всегда говорят слишком много, ибо там всякая речь есть выражение религиозного или политического лицемерия. Самодержавие, которое не что иное как идолопоклонническая демократия, порождает уравнение совершенно подобно тому как абсолютное народоправство порождает его в обыкновенных республиках.

Наши самодержцы некогда прошли, себе на горе, через школу тирании. Великие князья русские, вынужденные давить в интересах татар на собственный народ, иногда сами уводимые в рабство вглубь Азии, вызываемые по прихоти в Орду, правившие лишь на условии, что они будут послушными орудиями угнетателей, смещаемые как только переставали повиноваться, вышколенные рабством в деспотизме, приучили свой народ к насилиям завоевания. Таким образом, с течением времени, князья и народ взаимно развратили друг друга. Заметьте же себе разницу: это происходило на Руси в эпоху, когда короли Запада и их крупные вассалы соревновали в великодушии, эмансипируя свое население.

Поляки сейчас находятся в отношении русских в совершенно том же положении, в каком русские находились в отношении монголов при преемниках Батыя. Претерпенное иго не всегда ведет к тому, что то, которое в свою очередь налагаешь, оказывается менее тяжким. Князья и народы порой, подобно простым смертным, вымещают обиды на невинных: плодя жертвы, они самим себе кажутся сильными . . .

Изложив эту «философию» русской истории Козловского, Кюстин приводит свой ответ ему:

— Я вам не верю, князь. Подниматься над национальными предрассудками и показывать иностранцу свою родину, как вы мне её показываете, означает изящество ума, но вашим уступкам я не более доверяю, чем претензиям других.

На что Козловский отвечал Кюстину, что через три месяца он проявит больше справедливости к нему и к «правлению слова». Возможно, что Кюстин вставил это

пророчество Козловского для красного словца, но возможно, что Козловский и в самом деле так думал и сказал. Во всяком случае пророчество это сбылось: Кюстин, поехавший в Россию без всякого предубеждения против нее— в этом надо отдать ему справедливость! — и настроенный, наоборот, весьма недоброжелательно к тогдашнему режиму во Франции, вернулся из трехмесячного путешествия по России в ужасе от русского абсолютизма и примиренный с представительным образом правления.

Что касается развитых Козловским идей насчет исторических судеб России, то в них, как мы уже говорили, нетрудно усмотреть черты сходства с чаадаевскими: и мнение о том, что Россия отстала от Европы на 1000 лет, и характеристику византийского влияния, и оценку рыцарской традиции в западноевропейской культуре — все это мы находим в более развитом и углубленном виде в знаменитом чаадаевском «Письме», которое Козловскому, конечно, было известно. Но подозревать, что Кюстин задним числом вложил в уста Козловскому взгляды Чаадаева или что Козловский находился всецело под влиянием последнего, незачем. Не забудем во-первых, что многие идеи самого Чаадаева восходят к де Мэстру и Бональду — с первым Козловский и переписывался и встречался лично, со вторым, вероятно, тоже был знаком. Знаком был Козловский и с Экштейном,[34] с которым у Чаадаева были точки соприкосновения. Кроме того, как мы уже упоминали, Козловский «предвосхитил» некоторые мысли Чаадаева. Приведем еще один пример. В письме гр. М. С. Воронцову в 1818 г., по поводу предстоящего выхода первых томов «Истории Государства Российского» Карамзина, Козловский высказывает мысль, что русская история началась в сущности с Петра Великого и что стыдно поэтому выпускать в 1818 г. «Историю России», останавливающуюся на XVII веке (см. это любопытное письмо целиком в Приложении VI).

Главное же, в изложенных Кюстином взглядах Козловского есть элементы и черточки, которых мы не нахо-

дим у Чаадаева, по крайней мере в «первом» «Письме»: таково противоположение первоначально свободных славян, с некоторым даже возвеличением их полулегендарных князей, позднейшему «рабству»; таково определенное приурочение начатков русского деспотизма к по-монгольскому периоду и выведение этого деспотизма из монгольской школы; таково наконец противопоставление России и Польши. Все это принадлежит самому Козловскому.

4

Козловский - католик

Вернемся однако к цитированному выше разговору между Кюстином и Козловским. Вот заключительная часть этого диалога, в которой Козловский выступает не только как западник и полонофил, но и как католик:

Козловский: ...Я хочу обратить ваше внимание на одно капитальное обстоятельство: я дам вам ключ, который послужит вам для объяснения всего в стране, в которую вы въезжаете. При каждом вашем шаге среди этого азиатского народа думайте о том, что русским недоставало рыцарского и католического влияния. Не только они его не восприняли, но они с ожесточением противились ему во время своих долгих войн против Литвы, Польши, Тевтонского Ордена и Ордена Меченосцев.

Кюстин: Вы заставляете меня гордиться моей проницательностью: я недавно писал одному своему приятелю, что, насколько я вижу, религиозная нетерпимость — тайная пружина русской политики.

Козловский: Вы вполне угадали то, что вы увидите: вы не можете себе и представить всей глубины русской нетерпимости. Люди культурные и имеющие дела с Западной Европой с величайшим искусством скрывают свою основоположную мысль — о торжестве греческого православия, что для них однозначно с русской политикой. Без этой мысли нельзя ничего объяснить ни в наших нравах ни в нашей политике. Вы же не верите, например, будто бы преследование Польши есть следствие личного ожесточения Государя. Оно есть результат холодного и глубокого расчета. Эти акты жестокости похвальны в глазах православных. Святой Дух просветляет Государя, возвышая его душу над всякими проявлениями человеческих чувств, и Бог благословляет исполнителя Своих высоких замыслов: согласно этому взгляду, судьи и палачи тем святее, чем они жесточе.

Ваши легитимистские газеты не ведают, чего они хотят, когда ищут союзников среди схизматиков. Мы увидим революцию в Европе прежде, чем русский император станет от чистого сердца служить интересам какой-нибудь католической партии. Протестанты легче воссоединятся с Папой, чем глава русского самодержавия, ибо протестантам, чьи догматы выродились в систему, а религиозная вера преобразилась в философское сомнение, осталось пожертвовать Риму лишь их сектантской гордыней, тогда как император обладает вполне реальной и положительной духовной властью, которой он с себя добровольно не сложит. У Рима и всего, что связано с римской церковью, нет более опасного врага, чем московский самодержец, видимый глава своей церкви, и я удивляюсь, что итальянская проницательность еще не открыла опасности, которая угрожает нам [35] с этой стороны. Судите же перед лицом этой правдивой картины об иллюзиях, которыми убаюкивают себя некоторые парижские легитимисты...

В другом разговоре с Кюстином Козловский заявил:

Петр Великий после больших колебаний уничтожил патриаршество, чтобы соединить на своей голове клобук и корону. Таким образом политическое самодержавие открыто узурпировало духовное всемогущество, на которое оно притязало и с которым боролось издавна. Чудовищное сочетание, беспримерная аберрация среди народов новейшей Европы! Папская средневековая химера осуществлена ныне в империи с населением в 60 миллионов человек, частью азиатов, которых ничто не удивляет и которые ничуть не недовольны, обретя в своем царе Великого Ламу...

Тут Козловский, если Кюстин верно передает его слова, выступает перед нами как убежденный католик, но отнюдь не как ученик де Мэстра и сторонник его теократического идеала. Теократия, как форма абсолютизма, претила свободолюбию Козловского, и слова о «папской средневековой химере» звучат как критика теократии.

Вопрос о католичестве Козловского подлежит еще изучению. Мы знаем, что он скрывал свое католичество: не вполне ясно, например, был ли этот факт известен русскому правительству (вероятно, впрочем, был), употребляло ли оно сознательно Козловского в качестве свое-

го представителя при католическом дворе. В переписке Козловского с Петербургом по делу об отозвании де Мэстра в связи с закрытием ордена иезуитов нет никаких намеков на католичество самого Козловского, хотя Козловский и делает попытку защищать де Мэстра.[36] Доров, сам протестант, не могший сочувствовать католичеству Козловского, пишет, что Козловский в сущности был равнодушен к церкви, хотя и ненавидел протестантизм и называл Лютера «свиньей». Считать Козловского иезуитом и учеником де Мэстра, как это делал о. М. Морошкин в упомянутой выше книге, неправильно: из пока известной нам лишь односторонне переписки де Мэстра и Козловского ясно, что они во многом расходились, что Козловский отнюдь не разделял реакционного ультрамонтанства де Мэстра. Они разошлись, например, по вопросу о смертной казни (Козловский был за ее отмену), они расходились в отношении к г-же де Сталь (см. Приложение III). Как и Чаадаеву, Козловскому был чужд одинаково и цезаропапизм и папоцезаризм. И, как и у Чаадаева, это отчуждение коренилось в культе свободы.

С другой стороны мы знаем, что Козловский счел нужным выступить публично в анонимной брошюре с протестом против резкой анти-католической речи епископа Честерского (д-ра Бломфильда) по вопросу об эмансипации ирландских католиков. В этой брошюре, маскируясь под не-католика, Козловский выступает как бы от имени большинства германских протестантов в защиту религиозной терпимости и свободы. Мы знаем, как дорог был ему идеал свободы — в другом месте он говорил, что долгое пребывание в Англии научило его восхищаться свободными учреждениями и он высказывал это восхищение с риском быть обвинённым в преувеличении. Аргументация его отповеди еп. Честерскому отличается большой ясностью и логичностью. Тон ее в общем сдержанный: он старается не забывать, что говорит не от имени преследуемых католиков, но порой голос его звучит горячо и страстно:

Мы знаем, монсиньор, чтó жрецы позволяли себе в

Египте и в языческом Риме; мы знаем, что бывали такие, которые, будучи ослеплены такой же нетерпимостью, зажигали костры ауто-де-фе; мы знаем также к несчастью историю Кальвина и историю Генриха VIII в его религиозном качестве; но нам позволено было надеяться, что прошли времена, когда можно было смело оскорблять таким образом общественное мнение культурной Европы . . .

И дальше:

Мы нисколько не сомневаемся, монсиньор, что, если бы французские или австрийские иерархи в наши дни стали ходатайствовать перед своими правительствами о лишении инаковерующих политических привилегий, связанных с их званием гражданина, то крик общественного негодования положил бы конец подобному бесстыдному требованию.

Изложив подробно в начале своей книги свои разговоры с «князем К.», т.е. с Козловским, Кюстин в дальнейшем не упоминает Козловского и встреч с ним. Но в третьем томе «России в 1839 г.» приведен любопытный разговор, который он имел в Английском Клубе в Москве с «просвещенным» русским, прожившим много лет в разных странах и возвратившимся в Россию весьма «либерально», но и весьма «последовательно» настроенным. Аббат Кенэ в своей монографии о Чаадаеве правильно поясняет, что слова «либерально и последовательно» надо понимать в связи со словами самого собеседника Кюстина о редкости сочетания в одном лице либерализма и приверженности к католицизму: речь, стало быть, идет о либерале католике (или católизанствующем). Кенэ высказал мнение, что здесь имеется в виду сам Чаадаев. Возможность, что собеседником Кюстина в Английском Клубе был Чаадаев, не исключена. Чаадаев был постоянным посетителем этого знаменитого московского клуба. Кюстин был осведомлен о чаадаевской истории 1836 г. и в другом месте своей книги рассказывает эту историю и излагает некоторые взгляды Чаадаева, не называя его, а также прямо говорит, что ему предлагали устроить встречу с ним, но он от нее уклонился.[37] Последнее не лишено правдоподобия, ибо к тому времени, как он попал в Москву, Кюстин стал проявлять



Кн. П. А. Вяземский
Рисунок карандашом О. Кипренского (Рим, 1835 г.) с его собственноручной надписью

П. Я. Чаадаев
Портрет маслом работы неизвестного художника (1814 г.)



непомерный страх слежки и шпионства за собой. Но можно предположить, как это делает аббат Кенэ, что он всетаки не устоял против искушения повидаться с Чаадаевым и затем всячески это свидание законспирировал. Надо однако сказать, что в отношении Чаадаева указание на долголетнее пребывание московского собеседника Кюстина в Европе (Чаадаев провел в Европе три года) и возвращение в Россию либералом было бы большой натяжкой. Гораздо больше это подходило бы к Козловскому, который к тому же вернулся в Россию сравнительно незадолго до визита Кюстина — после двадцатидвухлетнего отсутствия. Может, конечно, показаться странным, что Кюстину понадобилось, снова введя Козловского, сделать это на сей раз анонимно, даже без указания инициала. Но Кюстин мог и не знать о смерти Козловского (не раскрыл же он его имени и раньше), и у него могли быть свои основания для «конспирации». Правда, у нас нет сведений о пребывании Козловского в **Москве** в конце лета 1839 г., но в этом нет ничего невозможного (мы знаем, например, что в 1836 г. Козловский собирался из Петербурга в Москву — в Москве могли проживать его сестры). Во всяком случае, гипотеза о том, что собеседником Кюстина мог и на этот раз быть Козловский, подтверждается тем, что многие из мыслей, высказанных «просвещенным философом-либералом», совпадают именно с мыслями Козловского. Собеседник Кюстина в Английском Клубе заявил ему, что ему всегда казалось противоречием «отчуждение либералов от католической религии», что, говоря так, он имеет в виду «и тех, которые называют себя христианами», и что он не понимает, как эти люди не видят, что, «отказываясь от римской религии, они лишают себя гарантий против местного деспотизма, который всякое правительство, какова бы ни была его природа, стремится проявлять у себя дома». Вместе с тем он возражал против точки зрения Кюстина — точки зрения последовательного ультрамонтанства — которая, по его мнению, привела бы к тому, что народ оказался бы «у ног духовенства»; а на слова Кюстина, что «религиозные преувеличения»

не так уж пугают его в наше время, возразил: «Я все же предпочитаю правление журналистов правлению священников: свобода мысли имеет больше преимуществ, нежели неудобств». Тут уже не только мысль, но и самая терминология близко напоминает терминологию Козловского в споре с Кюстином о свободе слова на борту «Николая I».

В дальнейшем разговоре собеседник Кюстина высказал довольно нелестное мнение о православном духовенстве. Доров прямо говорит, что Козловский был очень низкого мнения о русском духовенстве в его массе. В одном письме Козловскому де Мэстр весьма нелестно тоже отзывается о русских «попах» — возможно, что он в данном случае откликался на то, что писал ему Козловский. Чаадаев в 1839 г. не стал бы, пожалуй, так резко выражаться перед иностранцем. Далее собеседник Кюстина говорит о пагубности разделения православия на многочисленные секты: «Русская империя — сказал он —погибнет от религиозных разделений: поэтому завидовать нам, как вы завидуете, в могуществе нашей веры значит судить о нас, не зная нас». Мысль о преимуществе католичества в силу присущего ему начала е д и н с т в а — мысль чаадаевская, но вся эта тирада звучит не совсем по-чаадаевски. Козловский тоже высоко ценил начала единства и дисциплины в католичестве. По мнению Пэнго, который называет Козловского скорее «католизанствующим», чем католиком, именно эти начала, а не догма, влекли Козловского к католичеству. Я не хочу утверждать решительно, что собеседником Кюстина в Москве был его пароходный знакомец, «князь К.», но считаю, что вопрос этот должен остаться открытым. Может быть, когда-нибудь разгадка его будет найдена в бумагах Кюстина или самого Козловского.

Повторяю: вопрос о католичестве Козловского подлежит еще изучению. Для уяснения его существенны депеши Козловского, приведенные в Приложении IX. Такой убежденный католик, как ставший иезуитом кн. И. С. Гагарин, считал Козловского хорошим котоликом с «твердо укоренившимися убеждениями», даже если в жизни

он и отступал от правил веры, и сопоставлял его с Чаадаевым, декабристом Луниным и г-жей Свечиной (см подробнее об этом в Приложении XIII). Имея действительно, как мы видели, много общего с Чаадаевым, который, не перейдя в католичество и даже обратившись как будто под конец жизни к православию, льнул тем не менее к католичеству и многое в нем приял, Козловский, однако, отличался и от него, и еще больше от В. С. Печерина, ставшего католиком, не будучи ни с тем ни с другим соразмерен—оба они были фигурами гораздо более значительными и крупными, чем Козловский. Но в общем контексте истории русских обращений в католичество личность Козловского достаточно интересна и заслуживает дальнейшего изучения.

5

Литературные взгляды и сочувствия Козловского

Все знавшие Козловского отмечают его прекрасное знакомство с литературой. Память у него была феноменальная, и все его писания, дошедшие до нас — и частные письма, и воспоминания, и памфлеты для печати — пересыпаны стихотворными цитатами. Так, в своем ответе еп. Честерскому на его речь в Палате Лордов Козловский не мог удержаться, чтобы не высмеять неудачный с литературной точки зрения подбор цитат, которыми английский иерарх уснастил свое выступление, и в свою очередь не блеснуть эрудицией, цитируя Горация и Шекспира. Тут же, воспевая хвалы английской литературе вообще, он пускается в рассуждение о бедности английской **церковной** литературы и о возможных причинах этого явления.

Вяземский, говоря о литературных симпатиях Козловского, заявлял весьма решительно:

> В отношении литтературных мнений он был не только строгий классик, но едва ли не закоснелый старовер. За исключением сочинений исторических, политических и сочинений до точных наук относящихся, мало того, что он не уважал литературы новейшей, но и отказывался от нее и не признавал ее; разве только два из новейших поэтов были им изъяты из сего остракизма: Байрон и Пушкин.

Сам Козловский, по словам Вяземского, так объяснял это свое отношение:

> — Всем мнениям нужно освящение времени. До него каждое мнение только частный голос, предположение, прихоть. Я люблю Виргилия и Расина, потому что они мне нравятся, и могу признать любовь мою основательною и благоразумною, потому что большинство, время

и опыт оправдывают ее. Современным склонностям и мнениям не достает давности, и право сколько было обмолвок, ошибок в суждениях, которые на известное время казались непреложными. Нужно иметь непомерное самолюбие, чтобы противопоставить свой частный, единовременный голос голосам народов и столетий.

Нет основания не верить Вяземскому, когда он приводит это рассуждение Козловского: оно звучит вполне правдоподобно. Но все же приведенные выше слова Вяземского о литературном «староверстве» Козловского нуждаются в значительных оговорках и поправках. Любимыми писателями Козловского действительно были Виргилий, Гораций, Ювенал, Расин. Подражание древним он считал единственно допустимой формой литературного заимствования (см. интересные рассуждения его на эту тему в письме г-же де Сталь, Приложение III). Но он был и большим поклонником Шекспира, которого часто цитировал. Граф де ла Гард рассказывает, что, когда герцог Орлеанский жил в Кальяри, он и Козловский вместе читали Шекспира в подлиннике и наперерыв восторгались им. Козловский, видимо, хорошо знал английскую литературу XVIII века и особенно любил цитировать Томаса Грэя. Но он знал и любил и современных ему писателей, причем не только Пушкина и Байрона, и не ждал для них «освящения времени». Его письма Шатобриану и г-же де Сталь полны восторженного преклонения перед этими двумя современниками, с которыми он был лично знаком. О «Гении христианства» Шатобриана он говорит, как о «славном памятнике религии и нравственности», воздвигнутом «в момент, когда от сих последних оставались одни развалины». «Коринну» г-жи де Сталь называет «неподражаемой», «божественной книгой», которая заставила его по-новому полюбить хорошо ему знакомый Рим. Позже он будет восхищаться книгой г-жи де Сталь о французской революции прежде всего как литературным произведением. Эти восторги перед романтиками, к которым надо присоединить Байрона и Вальтер Скотта, едва ли согласуются с представлением о Козловском, как «закоснелом старовере». В разговоре с Кюстином Козловский

высказал несколько проницательных и острых суждений об обоих вождях английского романтизма. Байрон, говорил он, потому и кажется нам правдоподобным, что брал свои образцы из жизни, ибо «в поэзии действительность никогда не бывает естественной». На замечание Кюстина, что «выдумки Вальтер Скотта создают бóльшую иллюзию, чем точность Байрона», Козловский отвечал: «Может быть, но надо искать и других причин этой разницы. Вальтер Скотт изображает, Байрон творит. Последний не заботится о действительности, даже когда встречает ее; первый инстинктивно ее чувствует, даже когда выдумывает». На слова Кюстина, что у Вальтер Скотта этот инстинкт действительности связан с некоторой вульгарностью, Козловский воскликнул, что не позволит оскорблять «столь занимательного писателя», а когда Кюстин стал оспаривать именно занимательность Вальтер Скотта, противопоставляя его романам лесажевского «Жиль Блаза», Козловский заметил, что Вальтер Скотту нельзя отказать в одной заслуге: «Первый он разрешил трудную проблему исторического романа».

Из современных ему европейских писателей Козловский высоко ценил также итальянского поэта Виченцо Монти, главу итальянской поэзии в начале XIX века. Он выразил желание с ним познакомиться, и знакомство это состоялось: в переписке Монти Козловский не раз упоминается как «мой друг».

Познакомился Козловский и с Гейне, но об его отношении к нему мы ничего не знаем (см. Приложение XI).

В печатаемом в Приложении III письме Козловского к г-же де Сталь много интересных суждений о литературе, изобличающих не только большие познания, но и вкус.

Суждений Козловского о современной русской литературе мы в подлинном виде не имеем. О его преклонении перед гением Пушкина свидетельствует Вяземский. Козловскому очень хотелось, чтобы Пушкин перевел его любимую десятую сатиру Ювенала, и Пушкин незадолго

до смерти принялся за этот перевод (см. об этом и об их отношениях подробнее в Приложении X).

Весьма примечательно засвидетельствованное Вяземским положительное отношение Козловского к «Ревизору» Гоголя. В письме А. И. Тургеневу от 8 мая 1836 г., в разгар ожесточенных споров о пьесе,[38] Вяземский писал:

> Козловский один из малого числа ратоборцев за пиесу, Жуковский, да я, не говоря уже о государе, который читал ее в рукописи.

Мы видим, что тут Козловский тоже не ждал, чтобы «давность» оправдала гоголевского «Ревизора».

Сам Козловский в молодости грешил стихами (см. Приложение XII). Тогда же он отдал дань модному в то время сентиментальному романтизму и под впечатлением известия о самоубийстве одного молодого приятеля перевел гетевского «Вертера» (перевод этот не был никогда напечатан и, повидимому, не сохранился), хотя самому Козловскому вертеровские настроения были и тогда и потом совершенно чужды. Позднее, уже в роли дипломата, Козловский прославился блестящей формой своих дипломатических донесений, которые он писал, разумеется, по французски. Есть рассказ о том, как в 1812 г. из ряда проектов письма к австрийскому императору Францу, требовавшего большой «деликатности» в составлении, Александр I выбрал проект Козловского: речь шла о возвращении Австрии захваченных русскими войсками трех знамен, собственноручно вышитых императрицей Марией-Терезией.[39]

К русской литературе Козловский вернулся уже под конец жизни, став сотрудником пушкинского «Современника». Вот что писал Вяземский по поводу первой статьи Козловского в пушкинском журнале:

> В Петербурге познакомился он с Пушкиным и тотчас полюбил его. Тогда возникал «Современник». С участием живым, точно редким в деле совершенно постороннем, мысленно и сердечно заботился он об успехе его предприятия. В то время получил я из Парижа

Annuaire du bureau des longitudes, издаваемый под особым надзором ученого Араго. Я предложил князю Козловскому написать на эту книгу рецензию для «Современника». Охотно и горячо ухватившись за мое предложение, продиктовал он несколько страниц, которые, без сомнения, памятны читателям «Современника». Это была первая попытка его на Русском языке, и попытка самая блистательная. Должно заметить при том, что он до того провел постоянных лет 20 и более за границей и мог бы легко отвыкнуть от Русского языка, которому, впрочем, никогда не учился основательно. Но выражение было такою обычною и послушною способностью ума его, что с первых приемов применился он, приметался к новому орудию, как искусный боец ловко и метко действует тем орудием, которое в первый раз в руках его. Новый писатель с первого раза сумел найти и присвоить себе слог, что часто не дается и писателям, долго упражняющимся в письменном деле. Ясность, краткость, живость были отличительными чертами сего слога. Нет сомнения, что Пушкину со временем удалось бы завербовать князя Козловского в постоянные писатели и сотрудники себе . . .

Вяземский тогда же обратил на статью Козловского внимание своего приятеля, поэта И. И. Дмитриева, которому писал 13-го апреля 1836 г.:

Не смотря на сухое заглавие и даже главное содержание статьи князя Козловского (которого, вероятно, знаете вы по слухам и по европейской молве, если не знали лет за двадцать пять лично), советую вам прочесть ее. Язык и слог его, за исключением некоторых пятен, очень замечательны в человеке, который всю жизнь свою провел за границею. Он собирается в Москву, и вы найдете в нем любезного, просвещенного и добродушного чудака.

На это письмо Дмитриев отвечал 4-го мая, благодаря Вяземского за присылку «Современника». Он писал, что ему особенно понравились в номере пушкинское «Путешествие в Арзрум» и гоголевский обзор русских журналов, «изложенных с искусством или по нынешнему художественно и с беспристрастием», и затем прибавлял:

С удовольствием также пробежал я и князя Козловского. Он вместе со мною начал стихотворствовать и

подавал большую надежду, но вдруг умолк. Тогда я не знал его лично, а сошелся с ним во время моего министерства.[40] Он, мне кажется, имеет что-то сходное с князем Белосельским по своей любезности ума и простодушию; но в искусстве русского слова последний далеко уступает первому.[41]

В живом участии Козловского к «Современнику» проявился его «врожденный европеизм»: журнал, по мысли самого Пушкина, был «европейским» предприятием. Неудивительно также, что Козловский, как писатель, пришелся по вкусу Пушкину: отмечаемые Вяземским свойства его стиля («ясность, краткость, живость») были именно те, которые особенно ценил Пушкин в прозе. Ценен был Козловский для Пушкина и своим европейским подходом к вещам и разносторонностью своей европейской образованности. Ничего нет удивительного, что они сошлись лично: Пушкину должно было нравиться в Козловском сочетание острого ума с «ребячеством» и простодушием — в ином масштабе и в иных формах было это сочетание и в нем самом. Можно пожалеть о том, что до нас не дошло ни других отзывов Пушкина о Козловском кроме беглого упоминания в письме Чаадаеву, ни воспоминаний Козловского о Пушкине. Но все же в истории русской культуры имя забытого ныне Козловского неразрывно связано с Пушкиным.

Еще более тесные и многообразные связи соединяли Козловского с друзьями Пушкина, Вяземским и Александром Тургеневым. Во многом они были сочувственниками. Все трое были благородными русскими европейцами, о которых особенно уместно напомнить сейчас, когда Россия под нажимом деспотизма, который и не снился Козловскому и который воистину «не только почитает идеи и чувства за ничто, но и переиначивает факты» (слова Козловского о русском самодержавии в передаче Кюстина), отрекается в лже-патриотическом ослеплении и гордыне от своего европейского наследства и родства.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В числе этих эмигрантов Доров называет маркиза д'Отишан (Jean-François-Thérèse de Beaumont, marquis d'A u t i c h a m p, 1738-1831). После участия в разных контр-революционных выступлениях эмигрировал сначала в Англию, а затем в Россию, где оставался до 1815 г. Одно время командовал кавалергардским полком, потом был инспектором кавалерии в Малороссии и в Крыму.

2. Николай Николаевич Бантыш-Каменский (1737-1814), известный историк и археограф, с 1800 г.—управляющий московским архивом Коллегии иностранных дел.

3. Три письма де Мэстра к Козловскому напечатаны в Полном собрании сочинений де Мэстра (изд. Vitte & Perrussel, 1884-86 гг.). Одно из этих писем было в свое время напечатано в Русском Архиве (1866 г., стр. 1492-1504). В частном письме ко мне правнук де Мэстра сообщает, что в архиве де Мэстра писем Козловского не сохранилось.

4. См. в Приложении III письмо Козловского к Шатобриану.

5. См. сообщение г-жи Cécile D a u b r a y «Неизданный Шатобриан» в т. 33-34 «Литературного Наследства», посвященном русско-французским культурным связям (Москва, 1939, стр. 639-672). Письмо, о котором идет речь, датировано 27 декабря 1841 г., адресовано некоему "Monsieur Stuber", написано рукой секретаря Шатобриана и лишь подписано последним. В письме очень сухо и официально разъясняется, что Шатобриан не может доставить просимых у него сведений, что его знакомство с Козловским в Риме было мимолетным и что гробница Виргилия находится не в Риме, а в Неаполе. В примечании указывается, что о «г-не Штюбере» не удалось разыскать никаких сведений. Мне сдается, что речь тут идет о том «Штубе», о котором в том же году Вяземский, собиравший материалы для статьи о Козловском, писал А. И. Тургеневу в Париж: «Не забывай Штубе и Козловского. Мне эти материалы очень нужны. Авось, примусь писать. Меня только и тянут к себе мертвые. С ними я еще коекак жив . . .» В другой раз в той же связи упоминается «секретарь Козловского», без имени. Стюбер упоминается также в переписке Бальзака с дочерью Козловского, Софьей (см. Приложение XI). Нет сомнения, что в цитированном письме речь шла о каких-то материалах о Козловском, которые «Штубе» (Стюбер?) должен был сообщить или собрать. Вероятно во исполнение этого задания он обратился к Шатобриану с запросом об его знакомстве с Козловским. Фраза о гробнице Вир-

гилия в ответном письме Шатобриана показывает, что Стюбер запрашивал его о совместной с Козловским поездке к гробнице Виргилия, о чем см. ниже. Что побудило Шатобриана «забыть» и эту поездку, и далеко не «мимолетные»—как будет видно ниже—встречи в Риме, и более позднюю переписку—трудно сказать. Может быть, это была действительно старческая слабость памяти, но возможно, что тут действовали и какие-нибудь «дипломатические» причины. В этой связи интересно, что Шатобриан, как секретарь Феша, подозревался в шпионаже в пользу Наполеона и попытках втереться в доверие к сардинскому королю (см. об этом у **Perrero,** I Reali di Savoia nell'esiglio, Torino, 1898, стр. 241-42). Возможно, что Шатобриану неприятно было поэтому вспоминать о знакомстве с Козловским, которое было связано с его деятельностью в Риме в 1803-04 гг.

Добавим, что ни г-же Добрэ ни редакции «Литературного Наследства» не было известно опубликованное Пэнго письмо Козловского к Шатобриану, роняющее дополнительный свет на их личные отношения.

6. Документ этот цитируется в книге свящ. М. Морошкина «Иезуиты в России, с царствования Екатерины II-й и до нашего времени», 2 части. Санктпетербург, 1870. См. стр. 507.

7. Вилльям Хилл (William Hill, позднее Noël-Hill) был английским чрезвычайным посланником и полномочным министром при сардинском дворе с 1808 по 1824 г. Его предшественником, до 1806 г., был Томас Джаксон (Thomas Jackson). Между 1806 и 1808 г. Англия не имела в Сардинии своего дипломатического представительства.

8. Некоторые подробности роли Козловского в истории с Люсьеном Бонапартом были рассказаны мной в статье «Русский дипломат и побег Люсьена Бонапарта» в «Новом Русском Слове» (Нью Иорк) от 27-го января 1950 г. В статье J. Moulard, "Lucien Bonaparte et son départ de Rome en 1810 d'après des documents inédits" (**Le Correspondant,** 1909, pp. 518-530) приведено полностью относящееся к этой истории письмо Козловского к начальнику наполеоновской полиции в Риме, барону Турнону. Интересный документ, освещающий весь эпизод с сардинской точки зрения, приводится у V. Forini & F. Lemmi, Storia Politica d'Italia: Periodo Napoleonico dal 1799 al 1814. Milano, s. d., pp. 1025-1028.

9. Генрих (Андрей) Андреевич Жерве (1773-1832) был близким другом Сперанского, под началом которого он служил. О нем см. биографический очерк П. Майкова в **Русской Старине,** т. XCII (1897), стр. 97-120 и 393-403. 27-го марта 1812 г Жерве записал у себя в дневнике: «Государственный канцлер

сообщил мне, что государь император назначил моим преемником князя Козловского и приказал мне передать ему все находившиеся у меня служебные обязанности. На выраженное мною желание иметь по сему предмету какое-либо письменное предписание, канцлер заявил на это согласие, и 28-го марта я получил таковое» (**Русск. Стар.**, XCII,стр. 108).

10. Stratford Canning, первый виконт Stratford de Redcliffe (1786-1880). Был в это время английским посланником в Швейцарии и на Венском Конгрессе играл главную роль в решении швейцарского вопроса. В качестве английского посла в Константинополе сыграл впоследствии роковую роль в истории русско-турецких отношений.

11. Maximilian-Hermann, Graf von Montgelas (1759-1838).

12. Charles-Joseph, prince de Ligne (1735-1815).

13. Alessandro Rossi (1757-1827).

14. Ioannes Antonios Kapodistrias (1776-1831). Впоследствии —первый президент Греческой республики. Погиб от руки фанатика.

15. Conte Alessandro Carlo Filiberto di Valesa (1765-1823). В 1802 г. был посланником в Петербурге, с 1814 г. министр иностранных дел. В дипломатической переписке того времени фамилия эта часто встречается в её французской форме: de Vallaise.

16. Conte Federico Confalonieri (1785-1846), известный политический деятель, был арестован в связи с революцией в Пьемонте и приговорен к пожизненному заключению. Оставался в заключении до 1835 г., затем был депортирован в Соед. Штаты, но не вынес тамошнего климата. Кто был граф Николай Пален, мне не удалось выяснить.

17. Очевидно, граф Федор Петрович фон дер Пален (1781-1863), посланник в Соед. Штатах с 1809 по 1811 г., в Португалии с 1811 по 1815 г. и в Баварии с 1816 по 1823 г.

18. Две статьи кн. П. А. Вяземского о Козловском (1840 и 1868 г.) представляют собой самое ценное и содержательное из всего, что написано о личности Козловского. Они широко использованы мной и в тексте этого очерка, и в приложениях. Обе напечатаны в Полном собрании сочинений Вяземского (тт. II и VII).

19. John George Lambton, first Earl of Durham (1792-1840), английский государственный деятель. В 1835-37 гг. был послом в России; в 1838 г.—короткое время верховным комиссаром в

Канаде. Подал в отставку из-за обструкции его политики со стороны лондонского кабинета. Однако, составленный по его указаниям знаменитый доклад ("Report on the Affairs of British North America") лег в основу дальнейшей английской политики в Канаде.

20. Князь Ludwig von Starhemberg (1762-1833) был в то время австрийским посланником в Турине, а до того в Гааге и Лондоне. Раньше, еще при Екатерине II, был со специальной миссией в Петербурге. О нем см. биографию, написанную его внуком, гр. Тюргеймом: Ludwig Fürst Starhemberg, ehemaliger K. K. A. O. Gesandter an den Höfen in Haag, London und Turin etc. Eine Lebens-Skizze nach handschriftlichen Original-Quellen verfasst und geordnet von dessem Enkel A. Graf Thürheim. Graz 1889. Штаремберг имел много общего с Козловским: обладал энциклопедическими знаниями, сочетавшимися с исключительной памятью, знал наизусть греческих и латинских поэтов и был хорошо знаком с французской и английской литературой; славился как остроумный говорун.

Герцог Emmerich-Joseph Dalberg (1772-1833) — тогдашний французский посланник в Турине. Немец по происхождению, он был баденским посланником в Париже, но принял французское гражданство и верой и правдой служил Наполеону, что не помешало ему вслед за Талейраном перейти на службу к Бурбонам и быть одним из французских делегатов на Венском Конгрессе.

21. Письмо это хранится в архиве мисс Берри в рукописном отделе Библиотеки Британского Музея в Лондоне.

22. Gian Carlo di Negro (†1857)—итальянский поэт. Труд мисс Берри о Лоренцо ди Медичи остался, повидимому, ненаписанным (см. биографический очерк её в Dictionary of National Biography). Большую известность ей доставила её двухтомная сравнительная характеристика французского и английского быта.

23. William Roscoe (1753-1831)—английский историк, автор известной биографии Лоренцо ди Медичи, первое издание которой вышло в 1795 г. и принесло ему известность и деньги.

24. В письме к г-же де Сталь, написанном незадолго до смерти последней, мисс Берри писала ей, что видается с Козловским, «ум которого не задавлен огромной массой плоти, в которой он пребывает».

25. Фарнгаген фон Энзе (1785-1858) был едва ли не первым иностранцем, должным образом оценившим гений Пушкина. В 1838 г. он напечатал прекрасную статью о Пушкине в октябрьском номере Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik. Статья эта произ-

вела большое впечатление на знаменитого английского писателя и критика Томаса Карлайля, который увидел в Пушкине гения европейского калибра. Русские связи Фарнгагена были обширны и разнообразны; в частности, дружеские личные отношения связывали его с кн. П. А. Вяземским и А. И. Тургеневым. Он был страстным собирателем автографов и литературных и исторических материалов, и в его огромном рукописном собрании, хранившемся до последней войны в Прусской Государственной Библиотеке, имеется множество писем русских его корреспондентов. К сожалению, собрание это, эвакуированное во время войны, сейчас недоступно, и я не имел возможности использовать имеющиеся там письма Козловского.

26. Возможно, что одним из коллег Козловского был гр. Ф. П. Пален (см. прим. 17).

27. По всей вероятности Яков Васильевич Виллие (Sir James Wylie, 1765-1854), лейб-медик Александра I, и Николая I. Другой лейб-медик Александра I, как и он шотландец, Sir Alexander Crichton (1763-1856), к 1824 г. уже покинул Россию.

28. Alleyne Fitzherbert, Baron St. Helens (1753-1839). Был английским послом в России при Екатерине II (80-ые годы). Представлял Англию на коронации Александра I.

29. По словам Фарнгагена, великая княгиня находила, что Кюстин в своей книге «преувеличивал плохое и часто не видел хорошего» но признавала, что «во многом он прав». Даже такой убежденный патриот и верноподданный, как Жуковский, хотя и называл Кюстина «лицемерным болтуном», а книгу его «четырехтомным пасквилем», признавал, что «в ней много и правды».

30. Наиболее интересные суждения Козловского о России содержатся в «Письме пятом». В «Письме шестом» Кюстин приводит главным образом рассказы Козловского из русской истории, которыми тот иллюстрировал свои мысли. В этих рассказах много фантазии, в которой, может быть, повинен не Козловский, а Кюстин. О русской реакции на книгу Кюстина см. подробно в Приложении XIII.

31. Спутником Козловского и Кюстина на «Николае I» между прочим был Н. И. Греч, занимавшийся осведомлением III-го Отделения. См. об этом в Приложении XIII.

32. Но Тарасов, повидимому, не знал, что Козловский был собеседником Кюстина по пути в Россию, и потому не принял во внимание заявлений Козловского Кюстину. Первым на сход-

ство идей Козловского и Чаадаева обратил внимание кн. И. С. Гагарин, первый издатель и биограф Чаадаева, в статье о католиках в России, напечатанной в 1860 г. в Le Correspondant (см. об этом подробнее в Приложении XIII).

33. В богатом мыслями и фактическим материалом и оставшемся почти неизвестным читающей публике этюде П. Б. Струве «С. П. Шевырев и западные внушения и источники теории-афоризма о «гнилом», или «гниющем» Западе. Изыскания, сопоставления и материалы», напечатанном в 1940 г. в “Записках Русского Научного Института в Белграде” (вып. 17), рядом с опровержением, вслед за Гершензоном, герценовской «легенды» о Чаадаеве, как революционере, проводится мысль, что Чаадаев “был именно по своей религиозной натуре родствен католицизму” и “по самому складу своей духовной личности . . . был «томистом»”.

В ответ на подобранные Е. В. Спекторским цитаты можно было бы привести ряд цитат из писем Чаадаева уже после 1836 г. в прямо противоположном духе: напр., из письма А. И. Тургеневу 1841 г. о «лапотном элементе в полном развитии»; из письма А. С. Хомякову 1844 г. о «нашем народной спесью околдованном времени»; из иронического письма гр. Сиркуру 1845 г. о славянофилах; из письма А. И. Тургеневу того же года (“Мы затопили у себя курную хату; сидим в дыму; зги Божией не видать”); из письма Сиркуру 1846 г. по поводу статьи Хомякова, которую Чаадаев перевел на французский язык—факт, которым Е. В. Спекторский аргументирует, не упоминая о том, что Чаадаев прямо пишет о своем несогласии с Хомяковым, и т. д., и т. д. Конечно, на основании сопоставления всех этих цитат можно говорить о противоречиях у самого Чаадаева. Но всетаки отрицать западничество Чаадаева и его тягу к католицизму и говорить о нем, как предшественнике Достоевского, значит—подходить к нему односторонне. Чаадаев не был отнюдь «банальным» западником, ибо для него, как говорит П. Б. Струве, идея свободы была неразрывно связана с идеей церкви. Но от славянофильства его отталкивание было не менее, если не более, сильным, и трудно вообразить его сочувствующим идеям и умонастроению Достоевского эпохи «Дневника писателя».

34. О русских связях д’Экштейна и о его влиянии на Чаадаева см. упомянутый этюд П. Б. Струве (стр. 234-246), а также книгу Кенэ о Чаадаеве.

35. Слово «нам», употребленное здесь, может навести на мысль, что Кюстин оговорился, влагая свою собственную мысль в уста своего собеседника—в порядке ловкого литератур-

ного приема. Это может бросить тень и на остальные рассуждения Козловского. Но можно также предположить, что, говоря «нам», Козловский отождествлял себя со всеми католиками. Кюстин вскользь упоминает о том, что Козловский—католик.

36. См. русский перевод длинной депеши Козловского из Турина от 1/13 июня 1816 г., адресованной Нессельроде, которую Козловский начинает так: "Выполнив со всем старанием волю Е. И. В., я должен исполнить обязанность, предписываемую мне совестью и незыблемым правилом, гласящим, что свидетель защиты не должен молчать, когда он может представить что-нибудь в пользу обвиняемого . . . Поэтому важно, чтобы император выслушал все, что я могу сообщить в оправдание графа де Мэстра и что будет изложено мною с величайшим беспристрастием". Депеша заканчивается чрезвычайно характерными для Козловского словами: ". . . я не признаю возможным иначе служить моему Государю, как только с самою добросовестною точностью выполняя его волю (в чем до сих пор я имел счастье успевать), никогда не скрывая в своих донесениях правды и избегая всяких умолчаний и оглядок на самого себя" («Литературное Наследство», т. 29-30, стр. 668-673).

37. Среди писем Чаадаева имеется записка к его кузине, кн. Н. Д. Шаховской, в которой он просит передать другой своей кузине, кн. Е. В. Щербатовой, письмецо, цель коего—довести до сведения Кюстина «то, что этому человеку надлежит знать». См. об этом подробнее в Приложении XIII.

38. Первое представление «Ревизора» состоялось 19 апреля 1836 г. До того Гоголь несколько раз читал свою пьесу. На некоторых из этих чтений Козловский мог присутствовать, напр. у вел. кн. Михаила Павловича.

39. Доров ошибочно относит этот эпизод к 1809 г.

40. И. И. Дмитриев был министром юстиции с 1810 по 1814 год. С Козловским мог встречаться в 1812 г.

41. Кн. Александр Михайлович Белосельский-Белозерский (1752-1809), дипломат, писатель, знаток и любитель искусства. Писал по французски стихи, а также о музыке и об искусстве. По русски написал оперу «Оленька, или первоначальная любовь». Эту вещь вероятно имел в виду Дмитриев, сравнивая русский стиль Белосельского и Козловского. В 1792-93 гг. был русским посланником в Турине. Его дипломатические донесения оттуда были изданы в Париже в 1908 г. кн. Н. Трубецкой.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Род князей Козловских

Князья Козловские были потомками князя Ростислава Михайловича Смоленского, внука Владимира Мономаха (от которого происходили также князья Вяземские, Кропоткины, Дашковы). Родоначальником их считается князь Василий Федорович Козловский (от Рюрика колено XV). Имя свое они приняли по владению Козловской волостию. При Иоанне Грозном князь Тимофей Иванович, по прозвищу Киберь, был взят в плен поляками, но отпущен на честное слово под условием присылки из Москвы значительного выкупа; не будучи в состоянии выполнить это обещание, он «для поддержания чести слова, данного русским князем, добровольно возвратился в Польшу и оставался там до размена пленных, почтённый общим уважением». В Смутное время князь Федор Андреевич и его братья собрали в городе Романове войско против поляков, а в 1612 г. под знаменами Минина и Пожарского принимали участие в освобождении Москвы. Несколько Козловских были воеводами. В конце XVII в. боярин князь Григорий Афанасьевич был известен своим упорством в делах местничества. Двое Козловских умерли от ран, полученных под Березиной в Отечественную войну.

Сведения эти заимствованы из «Российской родословной книги, издаваемой князем Петром Долгоруковым». См. также о роде кн. Козловских в т. н. «Бархатной книге» («Родословная книга князей и дворян российских и выезжих... которая известна под названием Бархатной книги», Москва, в Университетской типографии у Н. Новикова, 1787, часть II).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Козловский в письмах и воспоминаниях современников

В дополнение к цитированным в тексте отзывам и воспоминаниям о Козловском приводим еще несколько выдержек из разных писем и воспоминаний его современников.

РУССКИЙ ЕВРОПЕЕЦ

Кн. П. А. Вяземский о Козловском

В 1836 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу из Петербурга:

Я что-то давно не видал Козловского. Он измасленничался: не пропускает ни одного бала и огорчается, когда пропустят его приглашением. Удивительная смесь мыслящей силы и пустого ребячества! Погни его в одну сторону—государственный ум; погни в другую —только что не шут. Но с обоих концов много доброты и мягкости, и простосердечия.

В воспоминаниях о Козловском Вяземский так говорил о последних годах его жизни:

В последние годы жизни своей не мог он однакоже постоянно ходить в общество, которое любил, можно сказать, до малодушия. Здоровье его более и более расстроивалось. Ноги худо служили ему, тяжкое удушье день и ночь давило и мучило его. Сие болезненное состояние наводило на него минутами облако уныния. Но он скоро рассеявался, когда он имел случай разговориться; можно сказать, что он имел верное средство заговаривать свои боли...

О даре слова Козловского Вяземский писал:

Главная деятельность Козловского была деятельность устная, а не письменная и не выражавшаяся в действиях. Нужно было бы иметь при нем постоянного и неутомимого стенографа. Вот что могло бы дать полную и живую фотографию его. Он мне говорил однажды, что письменный процесс для него тягостен и ненавистен. Другой раз говорил он мне, что прямое призвание его есть живая устная речь. Он в ней признавал свою силу, свое дарование и превосходство. И надобно признаться, что он в этом не ошибался.

...Все отрасли, все принадлежности, составляющие дар слова, были ему доступны, и он владел ими в равном совершенстве. Он готов был говорить о математике и о точных науках, к которым имел особенное призвание, развивать в живых и блестящих картинах достопримечательнейшие исторические эпохи, проникать в их тайный смысл; готов был преподавать мимоходом полный курс классической литературы, особенно Римской, и с этих высот спускаться к частным рассказам о современных личностях и к сплетням Парижских

и Лондонских салонов. Все эти мотивы были в нем приснопамятны и ему присущи. Стоило только в разговоре прикоснуться к той или другой струне, и симфония мыслей и слов изливалась то с величавой стройностью, то с прихотливой игривостью.

Вяземский подчеркивал разносторонность Козловского:

Особенною прелестью было в нем то, что природа и личность его были, так сказать, разносторонни и разнообразны. Он принадлежал не только двум поколениям, но, можно сказать, двум столетиям, двум мирам: так были разнородны и противоречивы предания, в нем зарожденные и сохранившиеся, и свойства, им самим нажитые и благоприобретенные. В нем был и герцог Версальского двора, и Английский свободный мыслитель; в нем оттенялись утонченная вежливость, и несколько искусственные, но благовидные приемы только что угасшего общежития, и независимость, плод нового века и нового общественного порядка. Вместе с тем Европейское обращение в круговоротах жизни не стерло с него Русской оболочки; но сохранил он Русское добродушие и несколько свойственное ей Русское легкомыслие; вместе с тем терпимость космополита, который везде перебывал, многое и многих знал и видел, если не всегда деятельно участвовал в событиях, то прикасался к ним и, так сказать, около них тёрся. Такие условия сберегают и застраховывают человека от исключительности в мнениях и суждениях. Есть люди, которые всецело принадлежат к своему поколению и прикованы к своему времени. Твердости в глубине их убеждений не редко соответствует мелкость их понятий и ограниченность объема их умозрения. Они стеснены и втиснуты в раму, которая облегает их со всех сторон. Это Чацкие, которые плотно сидят на коньке своем и едут все прямо, не оглядываясь по сторонам. То ли дело Онегины! Это личности гораздо сочувственнее и ближе к человеческой природе. В них встречаются противоречия, уклонения: тем лучше. В этой зыбкости есть более человеческой правды, нежели в людях, безусловно вылитых в одну форму. Одни живые, хотя и шаткие люди; другие, пожалуй, и самородки, но необточенные и не приспособленные к употреблению.

С добродушным остроумием говорил Вяземский о

«дородстве» Козловского:

> ... В Козловском была еще другая прелесть, сказал бы я, другой талисман, если бы сравнение это не было слишком мелко и не под рост ему; скажем просто, была особенно притягательная сила, и эта сила (смешно сказать, но оно так) заключалась в его дородстве и неуклюжестве. Толщина, при некоторых условиях, носит на себе какой-то отпечаток добродушия, развязности и какого-то милого неряшества; она внушает доверие и благоприятно располагает к себе. Над толщиною не насмехаешься, а радушно улыбаешься ей. С нею обыкновенно соединяется что-то особенно комическое и располагающее к веселости...

Общее место Козловского в русской жизни Вяземский (в своей статье 1840 г., написанной сразу после смерти Козловского) характеризовал так:

> Смерть его оставляет всё и всех в том же виде и положении, как и при жизни его. Ни в сфере государственной деятельности, ни в литтературе, ни на каком другом гласном общественном поприще он не занимал высшего места, места ему особенно присвоенного. Никакие обязанности, никакая ответственность собственно на нем не лежали. От него ничего не ожидали, ничего не надеялись. Он жил, так сказать, в себе и для себя, жизнью личною, отдельною, которая отражалась, так сказать, в одном тесном очерке, обведенном собственною его тенью, тенью частного и обыкновенного человека. Но не менее того смерть его есть утрата незабвенная и невозвратимая. Дело в том, что хотя и не был он действительным членом общества, а только почетным, что лица и события шли мимо его и без него, что он ничего не совершил вполне, не посвятил себя ни одному из тех общественных и нравственных служений, которые дают известность, почетность, власть и славу, но в одном отношении был он полным представителем одного ясного и высокого понятия: он был вполне человеком необыкновенно умным, необыкновенно просвещенным, необыкновенно добрым. Сего довольно, чтобы иметь верное, неотъемлемое место в частной современной, если не во всеобщей истории человечества, и верное и неотъемлемое право на любовь и уважение ближних, на слезы и скорбь благодарной памяти...

А. И. Тургенев о Козловском

Летом 1827 г. Ал. Ив. Тургенев и Козловский встретились на водах в Эмсе. В письмах Тургенева брату Николаю от этого времени много упоминаний о Козловском и об интересе, который он проявлял к делу Николая Ив. Тургенева, как раз в это время представившего правительству свою объяснительную записку. Со своей стороны Козловский составил тоже записку по этому делу, которую Александр Тургенев сообщил брату.

В одном письме А. И. Тургенев пишет:

> Он только и твердит о тебе, о несправедливости суда и судей... Все суждения его, в смысле юридическом, здравы и справедливы. Беспрестанно возвращается к тебе, и слушать любо; но больно то, что говорит о России...

В другом:

> Вчера кн. Козл. тронул меня, говоря о тебе. Зимою сбирается он в Англию и хочет быть с тобою; он уверяет, что занемог сильно и должен был бросить кровь из ноги, когда сказали, что тебя привезли на корабле в Пбг. Так это известие [ложное. —Г. С.] поразило его.

В бумагах А. И. Тургенева сохранилось также следующее воспоминание о Козловском:

> «И **внѣ Отечества** нас может утешать
> Воспоминание минувших дней Архивских».
>
> Так пародировали мы когда-то на чужбине с незабвенным Козловским стихи старейшего друга его и товарища по Московскому Архиву, Андрея Т[ургенева]:
>
> «И в самых горестях нас может утешать
> Воспоминание минувших дней блаженных!»
>
> Теперь друзья опять в м е с т е, и мы, оставшиеся, скажем о них словами друга, их пережившего:
>
> «Не говори с тоской: их нет!
> Но с благодарностию: б ы л и...»
>
> Я любил Козловского с моего детства, встречался с ним и м ы с л и л в с л у х везде: в Лондоне, в Эмсе, на берегах хладной и гранитной Невы—в виду мрачной

крепости: —везде встречались и мысли наши, и сердца бились одним чувством к человечеству, к России.

Не смею, потому что не вправе—оценить в Козловском его Гения в Математике, в Языкознании, в каком-то врожденном ему Европеизме; но радуюсь тем, что сердце мое всегда понимало его и угадывало, что мы часто вторили друг другу в чувствах наших—вслух, в нашем соучастии к людям, в нашем сострадании к их слабостям, в нашем негодовании к их гнусным утеснителям... "Tremblez! Vous êtes immortels!"

Мир праху твоему, добрый Козловский! Да прикроются твои слабости, во грехах рожденному человечеству свойственные, твоими добрыми делами, в последние дни твоего земного поприща совершенными, постоянным порывом твоего сердца ко благу твоих ближних. Есть место на земле, где не забудут твоего сердца спасенные твоими заступлениями: мы напомним тебя первыми и едва ли не единственными стихами твоей ранней молодости, в первые дни века и Александра:

Как часто в горести, в напасти
Нещастный, слабый человек,
В минуты мрачной, буйной страсти
Проступком омрачает век!...
Судьи холодно рассуждают,
Рассудком сердце обвиняют:—
Но ты на троне:—«Он прощен!»

Сей голос Поэзии сердца отозвался и в последнем твоем вздохе—Прости.

Это воспоминание Тургенева о Козловском датировано «11 апреля/30 марта 1842, в Париже», но возможно, что, как повидимому полагал В. М. Истрин, редактор «Писем и Дневников Ал. Ив. Тургенева», это текст «слова» Тургенева над свежей могилой Козловского.

Жуковский и Козловский

Летом же 1827 г. с Козловским познакомился В. А. Жуковский, и 26-го августа А. И. Тургенев писал брату из Дрездена:

...И Жуковский полюбил ум и сердце Козловского, и они часто болтали и читали стихи Жуковского вместе за полночь, к чему трудно теперь привести Жуковского.

Но главное, что их связало более и чем они друг другу понравились—это ты, т. е. чувством к тебе и мнением о твоих правилах. Я два раза заставал их говорящих о тебе, и то, что Жуковский понимал сам так хорошо и часто отгадывал в юридических истинах и правилах, то подтверждал и девелопировал еще подробнее и живее Козловский. И Жуковский журил его за многое, но отдавал справедливость Европейским мнениям его и чувству справедливости, кажется, врожденному в Козловском. Он нападал также на Б[лудова] за рапорт и, любя его прежде, удивлялся многому в рапорте; особенно же негодовал за тон иронический, который открыл в нем...

В 1833 г. Жуковский, по просьбе А. И. Тургенева, хлопотал об увеличении пенсии Козловскому, находившемуся в большой нужде. А в 1835 г. они снова дружески встретились в Петербурге, и Жуковский писал А. И. Тургеневу:

...Здесь Козловский; ходит на двух костылях по новому, но мил и умен по старому; я у него раз был, но он так далеко запропастился, что визит к нему есть путешествие, а времени совсем нет.

Козловский в переписке бр. Булгаковых

В переписке братьев Булгаковых, Александра (1781-1863) и Константина (1782-1835) имеется много упоминаний о Козловском. Сыновья известного екатерининского дипломата, Якова Ив. Булгакова (1743-1809), они и сами начали с дипломатической службы, но потом оба стали почт-директорами—первый в Москве, второй в Петербурге и в этом качестве часто выполняли почтовые поручения своих светских и литературных друзей. Письма Булгаковых писаны частью по русски, частью по французски; ниже французский текст дается в переводе.

9 (21) июня 1803 г., когда Козловский находился на пути к своему посту в Рим, А. Я. Булгаков, служивший в Неаполе, писал брату:

Козловский видно все тот же: начал в твоем письме фразу и не кончил. Рим верно одушевит его поэтические восторги. Я заведу с ним переписку. Ему будет

верно хорошо у Лизакевича—он бонвиван, любит, чтобы у него хорошо ели; суди сам, полюбит ли он Козловского, который не заставляет просить себя дважды в такого рода делах.

Весной 1812 г., по поводу назначения Козловского на место Жерве, А. Я. Булгаков писал из Петербурга брату:

...Я боюсь, как бы все это не вскружило его бедную головушку. Впрочем, я рад, что перед этим беднягой открылись наконец перспективы. Сестры чинят ему притеснения и отнимают у него имение. Козловский написал им, требуя своей доли имения, но заявляя, что если ему не дадут ее добровольно, он клянется, что не станет прибегать к правосудию. Было бы низостью, если бы поймали его на слове, а он из тех, кто держит слово.

Во время Венского Конгресса К. Я. Булгаков, состоявший тогда при Нессельроде, писал брату в Россию:

Козловский стал в самом деле почище с тех пор как он посланник, и много от этого выиграл. Когда совсем перебесится, то будет порядочный человек, так как возможности у него несомненно налицо, было бы только немножко больше порядку в голове.

В 1833 г. К. Я. Булгаков, со слов только что вернувшегося из заграницы Жуковского, сообщал брату, что «Козловский вечно без копейки, болен и в жалком положении, имея трех детей».

Действительно, в это время А. И. Тургенев писал Вяземскому: «Так как ты видишь Потемкина-Дипломата, то скажи ему, что по слухам, кои и сюда дошли, бывший его начальник в Турине живет в крайней бедности, больной, готовясь к мучительной операции. Семейство его в провинции и также в бедности. Он все еще надеется, что вспомнят о данном ему обещании увеличить пенсию. Напомни об этом Жук[овскому]: он будет уже с вами, когда получишь письмо». (Письмо из Женевы от 1-го сентября 1833 г.)

Упомянутый в этом письме «Потемкин-Дипломат» —Иван Алексеевич Потемкин (1778-1849), который

в 1812 г. был назначен секретарем в сардинскую миссию при Козловском.

Где именно в это время жил Козловский, мы не знаем—вероятно, в Германии.

Козловский на Венском Конгрессе

Имя Козловского много раз упоминается в воспоминаниях графа де ла Гарда-Шанбона́ о Венском Конгрессе. Auguste-Louis-Charles de la Garde-Chambonas (1783-1853) был ровесником Козловского. Фамилию Шанбона́ он принял от своего родственника и опекуна, который фактически усыновил его по смерти отца. Был на дипломатической службе при Наполеоне, хотя вышел из эмигрантской аристократической семьи. В Риме познакомился с принцем де Линем, который сделался его покровителем. В 1810 г. попал в Россию, где в 1811 г. перевел «Дмитрия Донского» Озерова. Жил некоторое время в Польше в качестве гостя графов Феликса и Софии Потоцких. Перевел для последней, знаменитой красавицы своего времени, посвященную ей поэму Станислава Трембецкого (1723-1812). В 1830 г. написал поэму «Погребение Костюшки», за которую сенат Краковской Республики пожаловал ему польское гражданство. Написал большое количество романсов, положенных на музыку известными композиторами того времени, а также роман ("Laure Bourg", Мюнхен, 1820), который посвятил баварскому королю. Много путешествовал и напечатал ряд путевых очерков (о Польше, об Англии, о Бельгии и других странах). В 1826 г. выпустил в Лондоне перевод «Ирландских мелодий» Томаса Мура.

Де ла Гард и Козловский деятельно участвовали в светской жизни Конгресса, во всех празднествах и увеселениях, и де ла Гард сохранил для потомства большой запас анекдотов и словечек Козловского. В его воспоминаниях Козловский выступает перед нами как краснобай и весельчак, но сам де ла Гард говорит, что он находил в нем

возвышенность воззрений и независимость выражений и суждений о людях и политических событиях, столь редкие между дипломатами. Беседа его, исполненная задора, привлекала к нему, а искренность его внушала приязнь и уважение...

...Немногие люди сочетали в работе столько живости и ума, как Козловский. К ним присоединялось красноречие, полное огня и увлечения. Он обладал глубоким и разносторонним образованием, замечательной памятью. История не имела секретов для него: он знал все дипломатические сделки, которые в течение веков определяли судьбы Европы. О людях он судил как государственный человек и философ. Он подходил как друг человечества ко всем политическим вопросам, которые часто искажаются частными интересами.

Вяземский, говоря о пребывании Козловского в Вене, отмечал смелость его суждений:

Такова была сила и меткость некоторых его замечаний, что говори он в Петербурге то, что свободно говорил в Вене, не удивился бы я, если бы фельдъегерь и кибитка унесли его в Сибирь, чтобы там научиться молчаливому умозрению, которое, казалось бы, должно было быть небходимою принадлежностью его дипломатического звания.

Из русских, бывших на Конгрессе, любопытную страничку воспоминаний о Козловском оставил А. И. Михайловский-Данилевский (1790 - 1848), впоследствии известный военный писатель, тогда состоявший при Александре I. Он писал:

Я не могу ... пропустить в молчании посланника нашего при Туринском дворе князя Козловского, одного из ученейших и самых оригинальных наших соотечественников. Он теперь министром в чине коллежского советника, чему у нас, где нередко достоинства измеряются по табели о рангах, не бывало примера, кроме посольства в Северо-Американских штатах, где министром был надворный советник Дашков. Государь обратил на него свое внимание с тех пор, как он находился поверенным в делах в Сардинии. Донесения его были столь хорошо написаны, размышления его и основанные на них догадки на будущее время, касательно особенно Испанской войны, столь справедливы, что император

пожелал его лично узнать и он был перед Отечественною войною выписан в Россию. С глубокими познаниями в истории, политике и словесности, ибо он читает в оригинале и Горация, и Данте, и Адама Смита, и Клопштока, чему у нас примеры редки, с необыкновенно обширною памятью, которая делала беседы его для меня очаровательными, соединяет он обжорство, неопрятность и почти детскую беспечность. Красноречие его составляло предмет удивления англичан, когда он по принятому у них обыкновению говорил речи за продолжительными их обедами, а либерализм его простирался до того, что он в Англии дружил только с членами оппозиционной партии и неоднократно от нашего двора получал замечания быть в речах своих осторожнее и скромнее.

— Часто ли обедал ты у принца-регента? спросил я его однажды.

— Я избегал его общества, отвечал он, и стыдился быть за его столом, parce que sa société était de mauvais ton.

Он часто меня навещал, просиживал у меня до глубокой ночи и пленял меня своею беседою; он сказал однажды, что англичане до такой степени уважают государя, что уверяли, что выбрали бы его величество в короли, если бы английский престол был избирательный. Следующие слова, сказанные князем Козловским англичанам, должны остаться для нас незабвенными: «Господа, ваши короли стремились всегда к умножению своей власти и к присвоиванию себе прав, которые принадлежат народу, но у нас совершается совсем противное: император дарует свободу, но народ ее отвергает».

Здесь надлежит отметить, что Козловский говорит о принце-регенте. Повидимому, дружба Козловского с ним, о которой упоминает Доров, относится к более позднему времени, после 1826 года, когда Козловский сошелся с английским премьер-министром Каннингом (1770-1827), который якобы даже предлагал ему службу в Канаде. Как регент и король, Георг IV едва ли мог привлекать Козловского: он ненавидел британскую конституцию, был противником всякого либерализма и ни за что не хотел эмансипации католиков. Каннинга, который был сторон-

ником эмансипации католиков и стоял за поддержку народно-освободительного движения в Европе и независимость Англии от Священного Союза, он поставил во главе правительства наперекор собственному желанию и симпатиям. Надо, однако, сказать, что в 1814 году, к которому, очевидно, относятся слова Козловского, сам император Александр I и его сестра вел. кн. Екатерина Павловна знались очень много с оппозицией.

Н. И.Тургенев, который тоже был в Вене во время Конгресса, в одном письме брату Сергею писал, что часто видится с Козловским, и прибавлял: «Я уверяю всех, но, кажется, без успеха, что он очень умен и весьма сведущ». Козловский, по его словам, скучал «дипломатическим своим бездействием».

Козловский в дневнике В. А. Муханова

К последним дням жизни Козловского относится интересная запись в дневнике В. А. Муханова (1805-1876), знакомого Пушкина, камер-юнкера, бывшего «архивного юноши». Он встретился с Козловским в Баден-Бадене в 1840 г. и за месяц с небольшим до смерти Козловского записал у себя в дневнике:

> Вчера я был у Козловского. Там было двое гостей. Говорили о политике. Князь К. очень умно, но не особенно глубоко разбирал, толковал и объяснял трактат 15-го июля. Он говорил о нем как светский человек, а не как дипломат. Войну, по его мнению, если она вспыхнет, можно будет легко уподобить дуэли между двумя людьми из-за панталон или места на бале. Эта манера рассматривать вопрос высокой важности с такой легкостью меня удивила. В момент, когда англичане и французы усиливают свой флот, причем последние видят явную обиду в том, что договорившиеся державы оставили их в одиночестве, нельзя утверждать, что ничто не поведет к войне, и ручаться с уверенностью, что мир не будет нарушен. Основываясь на теории Адама Смита о торговле между соседями, К. полагает, что между Францией и Англией должен существовать союз. Моя естественная робость помешала мне возражать ему, как мне того хотелось; но мне кажется, что

одной истории достаточно, чтобы опровергнуть эти доводы. К тому же мне сдается, что базой союзов между народами служат их взаимные потребности и предметы потребления, в которых они нуждаются, а не большее или меньшее разделяющее их расстояние...

Трактат 15-го июля, о котором здесь говорится, это соглашение по восточному вопросу между Россией и Англией, к которому примкнули Австрия и Пруссия. Франция, почувствовав себя изолированной. рассматривала это соглашение как «аффронт» себе со стороны Англии. Поговаривали даже о войне. Хотя Муханов говорит пренебрежительно о взглядах Козловского на внешнюю политику, Козловский, предвидя союз между Англией и Францией, проявил большую дальновидность: этот союз стал реальностью уже в Крымскую войну, тринадцать лет спустя, и постепенно закреплялся в новейшее время.

Козловский был большим поклонником Адама Смита и его теории: А. И. Тургенев упоминает, что однажды на водах в Эмсе Козловский ораторствовал перед кружком русских, польских и французских дам об экономической системе Адама Смита и о глупости людей, которым понадобилось столько веков, чтобы усвоить столь простые идеи.

Отметим еще, что А. П. Бутенев, дипломат, служивший в Лондоне, а потом в Константинополе, называя Козловского «человеком, исполненным ума, дарований и образованности», говорил, что в бытность посланником в Турине он пытался вновь ввести латинский язык в употребление дипломатии.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Письма Козловского к Шатобриану и г-же де Сталь

Печатаемые ниже письма Козловского к Шатобриану и г-же де Сталь появляются впервые по русски. В подлиннике они были напечатаны в 1917 г. в статье Léonce Pingaud о Козловском как дипломате (см. Библиографию).

Письмо Шатобриану написано по французски, письмо г-же де Сталь—на три четверти по итальянски и на четверть по французски. Оба письма хранятся в бумагах французского министерства полиции в Национальном Архиве в Париже. Написанные в один день, они были посланы через генуэзского префекта полиции Бурдона, который очевидно переправил их для перлюстрации в министерство полиции. Возможно, что в некоторых случаях министерство полиции только снимало копии с попадавших в его руки писем и затем доставляло их адресатам. Но в данном случае, надо думать, письма были просто перехвачены и до адресатов не дошли. Правда, письма писаны не рукой Козловского, но, не говоря о том, что он сам упоминает о ране в руке, мешающей ему писать, он вообще предпочитал диктовать письма. Подпись под письмом г-жи де Сталь, с которого у меня имеется фотокопия, сделана другой рукой, чем написан весь текст, и, если она не вполне тождественна с обычной подписью Козловского, то это может объясняться его больной рукой.

Письмо Шатобриану переведено мной с копии, присланной мне в свое время С. В. Познером и сверенной по моей просьбе недавно; письмо г-же де Сталь, в виду ряда неточноостей и ошибок в итальянском тексте у Познера—с фотокопии, полученной мной из французского Национального Архива.

1. Письмо Шатобриану

Милостивый Государь!

Я бы не осмелился говорить Вам о себе (как не осмелился, по старой памяти, назвать Вас «Мой любезный друг» или «Мой дорогой мэтр»), если бы не знал, что по естественной связи идей предметы незначительные сами по себе очень часто приводят нам на память места и эпохи, в которые мы любим переноситься. Таким образом мое имя напомнит Вам и Колизей, и прогулки вдоль Тибра, и множество других тогдашних обстоятельств, о которых даже Греция, хотя она и Греция, не могла, конечно, заставить Вас забыть. Как много произошло с тех пор, как мы виделись! Но нам ли, бедным ограниченным существам, заниматься судьбами

Империй, когда порой судьба одного человека так подавляет нас, что мы не можем ни охватить ее в целом ни часто даже постичь отдельных ее превратностей?

Ваш жизненный путь озарился блеском, ибо время, это горнило заслуг, повидимому придало Вашему имени бессмертие. Успех Вашего Гения[1] не был мимолетным: его не перестают читать на всех языках и в нем все время находят какие-нибудь новые красоты. Г-н Норт,[2] сын знаменитого лорда Норта и самый образованный англичанин из всех, каких я когда-либо знавал, говорил мне о нем с восхищением, которое делает Автору столько же чести, сколько и ему. Я бы хотел, чтобы Вы познакомились с этим человеком; все, что я могу Вам о нем сказать, это, что самая малая его заслуга состоит в способности читать Гомера с такой же легкостью как Джонсона или Попа. Сколько раз говаривал он мне, что завидует моему знакомству с Вами; уверяю Вас поэтому, что для меня это предмет гордости.

Атала и Ренэ переведены в России и приняты с беспримерной жадностью. Я нарочно запросил сведений об этом, и мне пишут, что даже в Тобольске подписка на обе вещи была очень велика, так что бедный сибиряк, закутанный в свои меха, как бы видит прекрасные места, по которым бродит Мешасебэ. Разве Вы не можете с правом сказать как Гораций:

Visam Britannos hospitibus feros,
Et laetum equino sanguine Concanum:
Visam pharetratos Gelonos,
Et Scythicum inviolatus amnem.[3]

Варварское состояние, в котором мы находимся со времени перерыва в сообщениях между этим островом и Францией—причина того, что я до сих пор не мог прочесть Вашей поэмы «Мученики».[4] Я поручил нашему генеральному консулу в Ливорно достать мне ее, но в этой стране купцов и банкиров в делах литературы еще так отстали, что этой вещи там не оказалось. Я напишу поэтому через моего здешнего банкира в Лондон, чтобы выписать ее оттуда. Если бы ненароком Вам пришло в голову послать мне экземпляр, который обслуживал бы всю Сардинию и Сицилию, я бы дорожил им бесконечно, особенно если бы несколько слов Вашей рукой на нем превратили его в залог Ваших добрых чувств ко мне. Я бы отвез его в Россию, и место ему

было бы не в библиотеке разума, а в библиотеке сердца. Я уже видел по многочисленным выдержкам, что труд этот достоин Вас. Да и разве можно было ожидать меньшего от человека, душа которого возымела благородную мысль воздвигнуть славный памятник религии и нравственности в то самое время, когда от сих последних оставались одни развалины?

Если Вы пожелаете послать мне что-нибудь или написать, вот мой адрес: Его Пр-ву генералу Морану, командующему 23-им военным округом и уполномоченному на Корсике, для передачи князю Козловскому, асессору в министерстве иностранных дел Е. В. Императора всея России и его поверенному в делах в Сардинии: все, что мне посылается этим путем, доходит до меня исправно.[5]

Что Вы хотите, чтобы я Вам сказал о моей ничтожной личности? Я тоже был очень несчастен и через самого себя и через других, но мне не позволено об этом говорить.[6] С людьми бывает так же как с растениями: прохожий, видя поваленный грозой дуб, останавливается, но деревцо, которое тут же рядом постигла та же участь, не привлекает его взоров. Хорошо говорить о преимуществах неизвестности: факт, что несчастия знаменитого человека приносят с собой своего рода утешение, которое испытываешь, говоря себе: «многие об этом толковали, многие меня жалели». Человек неизвестный мучается и потом говорит себе: «кто ты такой, чтобы иметь право жаловаться?» Поэтому я не расказываю Вам о моих злоключениях, а моя теперешняя жизнь вся заключается в следующих двух прекрасных строках Грэя:

В долине свежей, тихой бытия
Бесшумные их протекают дни.[7]

В России народное образование делает быстрые успехи, и этим мы обязаны нарочитым заботам Государя. Поистине мы имеем право именовать его отцом словесности, как вы назвали вашего Франциска Первого: В Феодосии в Крыму представляют в подлиннике Еврипида и Софокла, и мне сообщают, что в Школе точных наук в Санкт-Петербурге есть ученики, которых можно будет поставить в один ряд с Лагранжами и Эйлерами. Да будет так!

Злосчастная рана в руке не позволяет мне самому писать Вам. Дайте мне, прошу Вас, знать о себе, расскажите мне все, что можете, о Ваших путешествиях



Кн. П. Б. Козловский
Карикатура неизвестного художника (1813 г.?)
С автографом Козловского

и отличите меня от столь многих, которые несут Вам лишь дань восхищения: я присоединяю к ней дань искренней и неизменной преданности. Если бы я говорил с кем-нибудь другим, я бы сказал: ищите того, другого или третьего, чтобы быть счастливым. Вам же я говорю: любите славу, и Вы будете счастливы, ибо Вам не нужно никуда идти, чтобы обрести это счастье.

Кальяри, сего 8/20 июля 1810 г.

Г-ну Шатобриану и т. д.
Париж.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Речь идет о знаменитом произведении Шатобриана «Гений христианства» (Le Génie du Christianisme).

2. Фредерик Норт (North), пятый лорд Гилфорд (Guilford), 1766-1827, знаменитый английский «филэллин», основатель Ионийского университета на о. Корфу. В 1791 г., во время своего первого путешествия по Греции, перешел по влечению в православие. В том же году, после заключения Галацкого мира, обратился к Екатерине II с торжественной одой на греческом языке. См. о нем Dictionary of National Biography и мою статью «Два православных англичанина в XVIII в.» в **Новом Русском Слове** (Нью Иорк) от 28 августа 1949 г.

3. Цитата из знаменитой оды Горация (liber III, carmen IV), в которой речь идет, между прочим, о победах императора Августа, но и прославляется мирное царство Муз под эгидой Аполлона. Приблизительный перевод:

Узрю к чужестранцам свирепых Бриттов
И конскою кровью упоенных Конканцев,
И колчаноносящих Гелонов,
Невредимый, и Скифскую реку.

«Скифская река»—Борисфен, т. е. Днепр, на берегах которого по преданию жило скифское племя гелонов. Шатобриан, между прочим, одно время собирался эмигрировать в Россию.

4. «Мученики» Шатобриана—**Les Martyrs, ou le triomphe de la religion chrétienne**—вышли в 1809 г.

5. Генерал Моран (Charles - Alexis - Louis - Antoine Morand 1771-1835) командовал французскими войсками на Корсике. Через него именно Козловский сносился с наполеоновскими префектами полиции, как видно из эпизода с бегством Люсьена Бонапарта.

6. О каких неприятностях в жизни Козловского—личных или

служебных—идет речь, трудно сказать. Может быть, это имеет отношение к браку, который он скрывал. Может быть, он имеет в виду трения с английским консулом. Как раз за месяц до этого письма Козловский сообщил наполеоновскому префекту в Риме о намечавшемся бегстве Люсьена Бонапарта, а месяц спустя это бегство произошло.

7. Цитата из знаменитого «Сельского кладбища» Грэя (Thomas Gray, 1716-1771). Дана Козловским в подлиннике. Перевод—мой собственный. У Жуковского в первом переводе «Сельского кладбища» (1802 г.) эти строки читаются так:

Не зная горести, не зная наслаждений,
Они беспечно шли тропинкою своей.

Во второй версии (1838 г.) соответствующее место читается так:

. . . . вдоль свежей
Сладко-бесшумной долины жизни они тихомолком
Шли по тропинке своей . . .

2. Письмо г-же де Сталь

Надеюсь, что Вы еще в Европе; в противном случае письмо мое, куда более счастливое, чем я, последует за Вами в самые дальные края земного шара. Наконец я прочел и перечел неподражаемую Коринну.[1] Будь я итальянцем, а не скифом, я бы желал воздвигнуть ей памятник со следующей надписью: "Illae, qua non territorium, sed gloriam, animum nostrum defendit".[2] Я бы хотел, чтобы мои соотечественники каждый год приносили дань из ладана и венков той, которая исследовала самые скрытые изгибы их души и смирила дерзкую гордость тех, кто в силу разных обстоятельств или по причине большего могущества считают возможным оскорблять плачущую, но все еще прелестную Италию. Уверяю Вас, что я никогда, даже тогда когда жил в нем, так не любил Рима, как бродя по нему с Вашей божественной книгой. Я не знал итальянцев, пока не научился ценить их, прочтя эту книгу, и я так влюбился в сладостную речь, которой так справедливо восхищалась Коринна, что мне захотелось написать Вам на том же самом языке. Однажды человек большого дарования, говоря со мной о Коринне, сказал, что считает ее воображаемым персонажем: «Какое богатство знаний! какая возвышенность мыслей! какой вкус в эрудиции! Нет, невозможно, чтобы лицо подобное Коринне когда-либо существовало!» Я ему ответил,

предложив съездить в Коппэ, убежденный, что там он признает свою ошибку.

Впрочем, всего одно лишь решился бы я возразить против мнения этой божественной женщины. Никто более меня не восхищается разносторонностью или, вернее сказать, универсальностью ее познаний; но я не могу разделить ее мысли, будто бы народу для развития его гения необходимо пользоваться произведениями гения других народов, ему современных. Может быть, эта мысль проистекает у меня из моей педантичной приверженности к греческим и латинским образцам. В конце концов Расин писал, не зная Шекспира; многие из перворазрядных английских писателей не подражали французским и не изучали их, а итальянцы каждый день жалуются на галлицизмы, которые испортили их язык благодаря переводам, никогда не стоящим подлинника. «Если вы будете всегда переводить», говорил Вольтер аббату Оливе, «вас переводить не станут». Я слышал от г-на Норта, самого начитанного из всех англичан, которых я знавал, что он не мог наслаждаться «Заирой» по английски или «Королем Лиром» Дюсиса! Не было ли бы к выгоде всякого народа поступать так, как поступают оксфордские и эдинбургские студенты, а именно не изучать никаких новых языков и томиться над древними образцами, являющими собой вернейший пример для подражания и направляющими гений без того, чтобы лишать его своеобразия через смешение разнородных элементов? Лонгин, написавший столь прославленное сочинение много спустя после установления римского могущества, плохо владел латинским языком и не искал примеров высокого у латинских авторов. По той же причине Плутарх не хотел быть судьей между Демосфеном и Цицероном. Один великий человек—тот, быть может, который всего больше чести делает нашему веку—Адам Смит,[1] открыв непроторенную дорогу, положил в основу своего рассуждения принцип, что совершенство в промышленности зависит от более или менее полного разделения труда, то-есть, что чем меньше приходится делать одному рабочему или одной фабрике, тем лучше будет выполнение. Если поэтому, поскольку дела человеческие управляются одними и теми же законами, распространить ту же мысль на умственный труд, я скажу, что, когда каждый будет работать на свой лад, не стараясь охватить слишком много, каждый в свою очередь будет производить более совершенные изделия.

Указанные мной причины, а также те, которые можно извлечь из литературной истории прошлых времен, доказывают, сдается мне, что, черпая из собственных запасов и с помощью сокровищ древности, можно производить на свет шедевры. Франция, Англия и Италия, следуя каждая своим путем и руководясь своим особенным вкусом, имели своих Расинов, Мильтонов и Тассов: мысли, образы, выражения у всех разные, но во всех есть своеобразная красота, без того, чтобы что-либо было плодом подражания или заимствования изчужа. Я слыхал, как англичане жаловались, что введение изучения французского языка вскоре лишит их того островного своеобразия, которым гордятся их славнейшие писатели. Ла Гарп во Франции выступал яростно против культивирования тех экзотических растений, которые, будучи перенесены на чужую почву, дают лишь ублюдочный плод, а Альфиери всегда отказывался читать или подражать произведениям какой-либо страны кроме его собственной и древних. И раз Гомер, Гораций и Виргилий дают нам образцы следования, а народный дух—наш собственный способ подражания им, какие могут быть основания для смешения, подобного тому, которое было так правильно отмечено Коринной, говорившей о нежелательности смешения поэзии и живописи при выборе сюжетов?

Эти мысли потребовали бы более полного развития. Я их лишь намечаю и повергаю перед той, чье суждение подобно удару молнии, быстрому и безошибочному.

Это касается не только писателей. Если бы природа в числе своих чудес произвела человека, одаренного душой, способной чувствовать и передавать другим вкус к красотам всякого рода и любого места, не переводя их на иностранный язык; если бы такой человек прочел в подлиннике всех самых знаменитых авторов разных стран Европы; если бы он впитал их дух и ко всему этому присоединил всегда живое воображение, всегда чувствительное сердце и всегда верный ум, такой человек был бы поистине даром небес! Я его знаю, это—моя Сивилла из Коппэ.[5]

Не правда ли, сударыня, что я поступил очень неосмотрительно, написав Вам это длинное послание на языке, которым Вы владеете так хорошо, но как же иначе писать Вам по прочтении Коринны?

За всю Вашу жизнь Вы совершили одну оплошность,

а именно, не посетив в Ваших странствиях Россию.[6] Я знаю, что Вас там любят и Вами восхищаются, и с тех пор как мне написали из родной Москвы как много Вас там читают, я еще больше, нежели прежде, полюбил моих соотечественников.

Что сказать Вам о моей ничтожной личности? Я служу, читаю и порой страдаю—вот и все. Жизнь неизвестного человека мало значит. Я думаю, что Вы извлечете меня из этой неизвестности, ибо, когда станет известно, что я имею счастье быть знакомым с Вами, я тоже стану чем-то в мире.

Один бедный немец покончил с собой в этой стране. У этого человека не было никакой страсти, но были зародыши всех. Грусть, в которой он сам не мог дать себе отчета, заставила его желать смерти. Его могила—предмет паломничества для меня. Равнодушные справедливо считали его сумасшедшим,

И они бегут могилы того,
Чья жестокая судьба
Заставила его поднять руку
Безбожного насилия против себя.[7]

Злосчастная рана в руке мешает мне самому писать Вам, но я не стал ждать, чтобы она зажила—такова была моя потребность написать Вам! Дайте мне знать, прошу Вас, о себе и не оставляйте меня томиться в неведении о Вашей участи, которая так живо меня интересует.

Если я возвращусь вскоре, как я надеюсь, на материк, я попрошу у Императора разрешения съездить в Коппэ: для меня это будет бо́льшим счастьем, чем если бы я въехал в Капитолий на триумфальной колеснице.

Повергаю к Вашим стопам, сударыня, дань моего восхищения и вечной преданности.

Князь Петр Козловский.

Кальяри, сего 8/20 июля 1810 г.

Доставьте мне удовольствие присылкой третьего издания «Мучеников» и перевода Бенжамена Констана.[8] Вот мой адрес - - - - [9] . . . все, что мне посылается этим путем, исправно до меня доходит.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Коринна»—знаменитый роман г-жи де Сталь, вышедший в 1807 г., плод ее пребывания в Италии.

2. «Той, которая защищала не территорию нашу, но славу и дух».

3. Дюсис (Jean François Ducis, 1733-1816)—французский переводчик или, вернее, приспособитель Шекспира, переводами которого, между прочим, пользовался Сумароков. «Заира»—трагедия Вольтера.

4. Большой поклонник знаменитого английского экономиста Адама Смита, Козловский, как видим, несколько парадоксально применял его теорию разделения труда даже к литературе.

5. Здесь кончается итальянский текст письма. Остальное написано по французски.

6. Через два года г-жа де Сталь исправила эту «оплошность»: 14-го июля 1812 г., в годовщину французской революции, она переехала австро-русскую границу около Брод. (Интересное совпадение—умерла г-жа де Сталь тоже 14-го июля).

В России ей, как непримиримой противнице Наполеона, был оказан весьма радушный прием: ее принимал государь, она познакомилась с Кутузовым. О своей поездке в Россию она рассказала в книге «Десять лет изгнания». Визит г-жи де Сталь, продолжившийся два месяца (в сентябре она выехала через Або в Швецию), нашел впоследствии отклик в русской журнальной полемике, а также в незаконченном наброске пушкинского романа «Рославлев» (1831 г.) Козловский, вернувшийся в Россию в конце 1811 или начале 1812 г. и оставшийся там до ноября, должен был встретиться в Петербурге со своей «Сивиллой». Встречались ли они лично раньше, мы не знаем. Тон письма Козловского говорит как будто о том, что они были знакомы. Возможно, что, как предполагает Пэнго, они познакомились еще в Риме в 1805 г. По некоторым сведениям они виделись в Вене в 1807 или 1808 г., но Козловский в это время как будто был в Кальяри. О посещении им г-жи де Сталь в Коппэ точных сведений нет, но есть указания на то, что в какое-то время Козловский был в Женеве, и в таком случае он наверное ездил к ней на поклон.

Интересные документы, касающиеся пребывания г-жи де Сталь в России и вообще ее русских отношений, приведены в статье С. Дурылина «Г-жа де Сталь и ее русские отношения» в т. 33-34 «Литературного Наследства», но освещение, даваемое Дурылиным, несколько тенденциозно. В числе приводимых Дурылиным документов особенно интересна депеша

Козловского Каподистрии от 7/19 августа 1818 г., в которой он дает оценку знаменитой посмертной книги г-жи де Сталь «Размышления о французской революции», отрывки из которой она сама читала ему у себя в салоне в Париже в 1817 г., незадолго до смерти. Козловский писал Каподистрии (цитирую в переводе Дурылина):

> Существует только двое слуг императора, которые могут говорить о последнем, столь нашумевшем труде г-жи де Сталь. Эти лица имеют притом неоценимое преимущество знакомства и общения с автором в тот момент, когда она наносила на свой труд последние штрихи. Эти два лица— Поццо и я...

(Поццо—граф Карл-Андрей Поццо ди Борго, 1764-1842, корсиканец родом, личный враг Наполеона, русский дипломат, тогдашний посол в Париже).

Передав затем свой спор с г-жей де Сталь по вопросу о том, имеет ли народ право на сопротивление власти и дав, как говорит Дурылин, «политическую оценку книги..., которая могла быть принята в русском министерстве иностранных дел», Козловский заканчивает в сущности похвалами г-же де Сталь и частичным оправданием французской революции:

> ...Я не думаю, граф, и об этом следует сказать к чести женщин, чтобы мужчина, как бы гениален он ни был, мог написать такое сочинение... К глубине идей мыслителя, привыкшего иметь дело с самыми серьезными предметами, идей на вид совсем простых, но, по существу, чрезвычайно отвлеченных, присоединяется целый ряд тонких беглых наблюдений, собранных в большом свете, которые мужчина не сумел бы ни сделать ни развить. Между тем эти наблюдения исключительно важны при описании характеров, а следовательно и для объяснения событий. Один только Вольтер, насколько мне известно, благодаря необычайной тонкости своего восприятия, обладал до некоторой степени этой способностью подмечать невидимые черточки характера и настроения, интимно знакомящие нас с человеком. Г-жа де Сталь имеет над Вольтером то преимущество, что она описывает только тех людей, которых знавала лично. Благоволите хотя бы сравнить портрет, нарисованный Вольтером с Карла XII, разрывающего своими шпорами платье великого визиря, подписавшего Прутский мир, и портрет, сделанный г-жей де Сталь с Наполеона, внезапно вскакивающего, когда Баррас пытается поколебать его решимость стать деспотом Франции. Кто, кроме женщины, сумел бы извлечь из волос Мирабо или из благородной бледности Грея способ запечатлеть этих людей в вашем воображении,

как они уже запечатлены в ваших мыслях? Красоты такого рода, граф, обычно мало замечаются рядовыми читателями, но те, которые читали древних, знают, какую цену придавали им эти последние.

Я почел бы, что погрешил против питаемого мною чувства уважения к литературе, если бы не поставил на первое место в ряду похвал, которых заслуживает это произведение, заслуги быть написанным с таким чувством доброжелательности, что человек, прочитавший его с удовольствием, почувствует себя великодушнее, умиротвореннее, более способным прощать и жалеть, чем до прочтения его.

Наиболее яркую и, так сказать, действенную идею всей работы, умело развитую г-жей де Сталь, следует повторять и повторять: французская революция не является событием, которое можно датировать теми или иными годами последних сорока лет, или приписать тому или иному лицу. Кардинал Ришелье начал ее путем унижения дворянства. Людовик XIV подготовил ее своими честолюбивыми войнами и расстройством финансов. Регент деморализовал нацию личным примером и побудил ее искать успеха только в интригах и наслаждениях. Людовик XV своим бессилием и предоставлением власти неумелым рукам сделал революцию неизбежной. Таким образом, Людовик XVI вступил на уже пошатнувшийся трон...

Другая мысль, к которой г-жа де Сталь часто возвращается, чтобы ее опровергнуть, имеет особое значение для истории наших дней. В наши дни люди, выдвинуться которым помогли их ошибки, несправедливости и злоупотребления, в качестве извинения всегда ссылаются на обстоятельства... Когда задумаешься над событиями, рожденными гением Карла XII, Альберони, Фридриха и Бонапарта, невозможно не возлагать на великих людей ответственности как за их поступки, так и за все то, что принятие иных решений могло предотвратить. Государственные люди несут эту историческую ответственность—таково требование справедливости, так как тот, кому выпадает наибольшая доля успеха, должен по той же причине, по крайней мере в общественном мнении, подвергнуться риску быть обвиненным в неудачах и ошибках.

Козловский говорит далее о главах, посвященных Наполеону, как об истинном «литературном триумфе» г-жи де Сталь:

...ее стиль становится столь же блестящим, сколь величественна и правдива ее манера живописать. Восхищение этой частью ее работы никогда не будет чрезмерным.

Все в этом отзыве крайне характерно для Козловского: и

восхищение художественной стороной книги, и ссылки на «древних», и широкий взгляд на революцию и ее неизбежность, и мысль об ответственности великих людей, и смелость в выражении своих мнений.

В более раннем донесении самому Александру I, написанном еще при жизни г-жи де Сталь (2 марта 1817 г.), Козловский выражался гораздо осторожнее и сдержаннее, хотя и говорил о своей дружбе с ней:

> ... Каковы бы ни были чувства моей личной привязанности к г-же де Сталь и моя благодарность ей за дружбу, я не могу однако скрыть от В. И. В., что хотя я и считаю ее в данный момент очень полезной для министерства, но допускаю, что впоследствии она может оказаться весьма опасной ...

Любопытно, что Козловский тут же говорит о «ясно выраженном стремлении» г-жи де Сталь «склонить своих друзей после смерти короля, которому она всецело предана, в пользу герцога Орлеанского»—с последним, как мы знаем, самого Козловского связывали дружеские отношения. Упоминает Козловский и о свойственном г-же де Сталь «пристрастии к протестантизму», которое, как католику, не могло ему нравиться. В этом донесении ум г-жи де Сталь характеризуется как «быстрый в суждениях и способный к комбинациям».

Интересно, что свое донесение Каподистрии о книге г-жи де Сталь Козловский сообщил в копии Жозефу де Мэстру, который г-жу де Сталь весьма недолюбливал. Мэстр откликнулся длинным письмом от 20 августа 1818 г., напечатанным в т. XIV полного собрания его сочинений (изд. 1884-1886 г.; это самое полное, но весьма неудовлетворительное издание, без примечаний; фамилия Козловского несколько раз в нем переврана). Мэстру не понравилось снисходительное отношение Козловского к г-же де Сталь, главное несчастие которой он видел в том, что она «не родилась католичкой», а второе несчастье в том, что она родилась в том веке, который был «достаточно легкомыслен и достаточно испорчен», чтобы восторгаться ею, и тем окончательно ее испортил. Из всех произведений г-жи де Сталь Мэстр «самым лучшим» считал «самое плохое», а именно «Размышления о французской революции», в которых особенно ярко проявился ее талант. В оценке литературнаго таланта он сходился с Козловским, но для него это был «талант зла», и он писал: «Все ошибки революции здесь сконцентрированы и сублимированы. Всякий человек, который может без гнева читать это сочинение, может быть и родился во Франции, но он **не француз**». В письме Козловскому Мэстр называет г-жу де Сталь «нахальной бабенкой», а ее книгу—«блестящим отрепьем».

О встрече Мэстра с г-жей де Сталь в одном петербургском салоне в 1812 г. имеется забавный анекдот в книге Дюпрэ де Сэн Мора (1772-1854): L'Hermite en Russie, ou Observations sur les moeurs et les usages russes au commencement du XIXe siècle . . . Par E. Dupré de St-Maure. 3 vols. Paris 1829. Автор пробыл в России пять лет, с 1819 по 1824 г. (в 1823 г. он, между прочим, выпустил «Антологию русской поэзии» по французски, в которой впервые познакомил иностранную публику с произведениями Пушкина) и уверяет, что анекдот этот слышал от ряда русских в Петербурге. Если верить ему, в салоне, где Мэстр и г-жа де Сталь встретились, зашел разговор о религии, и Мэстр принялся развивать свои религиозные идеи. Г-жа де Сталь терпеливо выслушала его, а потом с жаром стала возражать. Противник ее молчал, и она уже решила, что он счел себя побежденным, когда вдруг услышала раздававшееся с его кресла ровное похрапывание: Мэстр попросту заснул под ее страстный монолог. Хотя ей потом и объяснили, что таково было его обыкновение в гостях, она никогда не могла простить ему этого знака неуважения. Сама г-жа де Сталь об этом случае в своих воспоминаниях о пребывании в России не упоминает, и за достоверность рассказа Дюпрэ ручаться нельзя. Если он верен, Козловский мог быть свидетелем этой сцены.

Когда Козловский и г-жа де Сталь встречались и принимались ораторствовать, коса должна была находить на камень: оба были привержены к «монологам» и любили слушать самих себя. Впрочем, оба говорили, что воспитанный человек узнается по тому, как он умеет делать вид, что слушает собеседника.

7. В подлиннике по английски. Источник этой цитаты я не мог установить.

8. Не будучи, видимо, уверен в том, что Шатобриан исполнит его просьбу, Козловский и г-жу де Сталь просит прислать ему шатобриановых «Мучеников».

9. Здесь дан тот же точно адрес, что и в письме к Шатобриану.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Письма Козловского маркизу Кавуру и Пиктэ де Рошмону

1. Письмо к Кавуру

Генуя, 1/12 февраля 1818 г.

Дружба, которую Вы непрестанно выказывали мне, поощряет меня побеседовать с Вами о деле, которое бесконечно интересует меня. Я уже говорил Вам о нем перед своим отъездом, но теперь, когда мне пришло в голову, что оно не имеет никакого отношения к тому, что называется raison d'état или оскорблением величества, я займу Вас им пространно и с открытой душой, как имею обыкновение делать всякий раз, когда дело идет о моих друзьях. Разрешите мне развить Вам теорию, которая на первый взгляд покажется Вам анти-
идет о моих друзьях. Разрешите мне развить Вам теорию, которая на первый взгляд покажется Вам анти-
общественной, но которая вовсе не является таковой, потому что при всей видимости мизантропичности она снисходительна и находит отглосок в сердцах всех тех, кто мерит одной мерой недостатки и проступки других и свои собственные. Мой опыт и проделанное мной глубокое изучение людей разных классов во всех странах, где я бывал, убедили меня, что того, что называется отвлеченной добродетелью, не существует, или же, если она и существует, то является уделом немногих привилегированных существ, которым Небо, посылая несчастья, бедствия и страсти, дало также силу бороться победоносно и не уставая от своих плачевных усилий. Большая часть людей осуждает со строгостью, в которой они когда-нибудь отдадут отчет, проступки, которых сами они не могут совершить, не соображая, что их собственные проступки могут быть в глазах вечного правосудия столь же, если не более, серьезными. Какой-нибудь распутник, нарушая законы брака, гостеприимства и дружбы, оскорбляет бедняка, которого нужда сделала жуликом. Какой-нибудь игрок, разоряющий семьи, безжалостно осуждает человека, укравшего тысячу франков. Наконец какой-нибудь клеветник, который, чтобы отомстить обидевшему его министру, распространяет против него в обществе самые лживые и черные обвинения, делает вид, что презирает чиновника, не выполнившего самой пустяшной обязанности.

Та враждебность, маркиз, которую люди испытывают друг к другу, смягчается на деле лишь их низостью, то-есть когда дело идет о каком-нибудь нахальном и не наказанном провинившемся, огромное состояние которого в то же время в глазах этих суровых судей одновременно служит и указанием и оправданием способа приобретения этого богатства; тогда головы склоняются, тогда люди становятся снисходительными и кладут в карман щепетильность из страха, чтобы она не оскорбила взоров того, кому кадят. Величайший полководец века будет жить в обществе человека, о котором каждый знает, что он берет деньги направо и налево; министры, генералы, князья этой самой Европы ищут этого общества, как чего-то бесценного; но остерегайтесь замолвить слово за какого-нибудь субпрефекта, который принял 200 франков, чтобы избавить человека от набора. Какой-нибудь генерал меняет религию, чтобы стать князем, и одобрению нет конца. Если же какой-нибудь жалкий еврей переходит в христианство, эти же самые философы говорят, что он достоин презрения, потому что он сделал это из корысти. Словом, только большие проступки хороши, только те преступления извинительны, которые сопровождаются еще более ужасной наглостью.

Таков, маркиз, я знаю, порядок вещей, установившийся в этой жизни, и какой-нибудь человек, который радуется тому, что он приятель Фуше или графа Алексея Орлова, покраснел бы от стыда, если бы он был приятелем сидящего в тюрьме банкрота. Эта суровость и эта снисходительность всегда казались мне самыми отвратительными явлениями нашего современного общества. В те эпохи, когда было больше настоящих добродетелей, люди были строже к себе и к великим мира сего и снисходительнее к тем, кого постигла беда. Поэтому, маркиз, я составил для себя в этом отношении систему, которая, может быть, и плоха, но от которой я не отступлюсь—а именно не судить людей иначе как по своей мерке, если только речь не идет о людях общественных, которых мы имеем право судить строже, ибо наша участь зависит от их действий. Что касается остальных, то я всегда начинаю с того, что вместе с знаменитым поэтом Грэем молюсь о том, чтобы несчастье не поразило меня слишком сильно, ибо никто, никто, маркиз, не может ручаться за свои силы, пока они не подверглись хорошему испытанию.

Это интереснейшее письмо Козловского, позволяющее понять, почему из него не мог выйти хороший дипломат и царедворец, напечатано было Пэнго в его французской статье о Козловском. В примечании к письму сказано, что оно представляет собой начало письма Козловского к Кавуру по одному личному делу. Письмо было включено графом де Габриаком, французским коллегой Козловского по Турину и приятелем его, в донесение герцогу Ришелье, возглавлявшему тогда французское правительство. Было ли оно сообщено Габриаку самим Козловским, Пэнго не говорит. С подлинником письма Габриака, хранящимся в архиве французского министерства иностранных дел, я не имел возможности ознакомиться.

Адресат письма—маркиз Michele Antonio Benso di Cavour (1781-1850), отец знаменитого государственного деятеля, объединителя Италии—был близок к принцу Кариньянскому, будущему королю Карлу-Альберту (1798-1849), который в то время пользовался репутацией либерала. Козловский был тоже с ним знаком.

2. Из письма к Пиктэ де Рошмону

Весной 1816 г. Козловский, вместе с английским, австрийским и прусским посланниками, принимал участие в ведшихся в Турине швейцарскими представителями переговорах с сардинским правительством об окончательном установлении границ между Швейцарией и Пьемонтом и связанных с этим таможенных и иных вопросах. В этих переговорах Козловский, представлявший русского императора, который питал к Швейцарии большие личные симпатии, сыграл большую роль. Незадолго до окончания переговоров, увенчавшихся подписанием договора, Козловский обратился к главному швейцарскому делегату Шарлю Пиктэ де Рошмону (1755-1824) с длинным письмом, в котором в следующих восторженных словах отозвался о Швейцарии, как очаге свободы:

...Высказывая Вам свою мысль во всей полноте, я имел лишь целью, с одной стороны, выполнить благо-

желательные намерения Государя, а с другой, потрудиться как-то для той страны, в которой священное пламя независимости и свободы сохранилось неугасимым в течение веков; той страны, чей пример всегда служит победоносным ответом тем, кто утверждает, что европейский материк неспособен ко всему, что есть благородного, либерального и независимого в человеческом сердце; той страны наконец, которая, завоевав восхищение народов, получила на двух конгрессах дань государей, благодаря простоте своих нравов, чистоте своего правления и редкостному сочетанию добродетелей посреди стольких бедствий и преступлений.

Письмо это, от 17-го февраля 1816 г., Пиктэ препроводил женевскому синдику Турретини, и оно хранится в Швейцарском Федеральном Архиве (№ 1942). Полностью оно напечатано в изданной Л. Крамером дипломатической переписке Пиктэ.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Письмо кн. П. Б. Козловского сестре Анне

Ноября 20-го в Ботническом Заливе, на Аландских островах.

После ужасной бури, которая занесла мое судно на скалу, я нахожусь здесь, ma chère Annette, и дожидаюсь попутного ветра ехать в Штокгольм, а оттуда в Англию. Божие провидение, на которое я всегда единственно полагал мою надежду, спасло меня и в сем так сказать придверии смерти, и милостивое око Спасителя воззрело не на невинность мою, но на веру, в которой я никогда не оскудевал. Корабль наш был в таком положении, что никакое человеческое усилие не могло избавить оного от неизбежной погибели, но я ни минуты не унывал, ибо во всех случаях жизни моей привык видеть промысл Вышнего, и ничего другого. Я к тебе писал при ответе моем из С. П. Бурга о причинах, побудивших меня проситься в чужие краи, я уверяю тебя, что сие мне не мало стоило. Впрочем подумай сама, не имея никакого состояния, не получая никаких доходов, могли я одним жалованьем жить в П-Бурге, держать по пристойности занимаемого мною места, 4-ую карету, двух людей, и иногда с приятелями в Ресторациях обедать: на это надобно по крайней мере 12 тысяч в год, а у меня едва 6 было: красть я не умею, и не умею

также считать полушки, почему я и решился проситься в чужие краи, и поехал бы даже поверенным в делах и секретарем посольства, есть ли бы иначе не послали. Государь, который ко мне всегда был милостив, и тут еще оказал мне неизреченную щедроту, назначив меня чрезвычайным посланником и полномочным министром с жалованьем по месту т. е. 30 тысяч рублей. При мне назначили секретарем Потемкина, человека весьма любезного и которого общество усладит мое из России удаление: и так, милая, то, чего я искал единственно с тем видом, чтобы избавиться от бедности, поставило меня вдруг на линию министров, и тем решило навсегда будущую судьбу мою по Дипломатической части. Мало примеров таковего щастия, но все это не утешит меня в том, что я оставил Россию, не увидавшись с тобою: ты себе вообразить не можешь, сколько сие сердцу моему болезненно, но даю тебе слово что через год буду просить отпуска, и никуда не заезжая, прямо направлю путь мой туда, где ты будешь. Пиши Бога ради сколько можешь: вот мой Адрес [далее следует адрес барона П. А. Николаи, русского поверенного в делах в Лондоне].

Зделай милость напиши к дядюшке Александру Николаевичу, что я ему вторично препоручаю мои дела, ожидая милостивого его к оным призрения: ты же сама сколько здоровье твое позволит, попекись об лучшем оных учреждении, ибо обстоятельства могут перемениться, я могу быть принужден оставить службу, и тогда мне надобно же будет чем нибудь кормиться, хотя и уверен, что в таковом случае вы меня без куска хлеба не оставите.

Есть ли знаешь что нибудь о Машиньке, успокой меня на ее щет, ибо после неблаговременной поездки ее в деревню для раздела, я и подумать не смею в каком она могла найтись положении.

Об обстоятельствах России я говорить, ты знаешь, не люблю: но что я тебе могу сказать, это то, что никогда я столько не восхищался великим и отеческим сердцем Государя, как ныне: Ах! те Его только ценить могут, кто, как я, близко у течения дел были, и знают, сколько он любит Россию.

Есть ли ты можешь переслать ко мне мою фамильную печать, одолжишь меня особенно. Я с большим удовольствием узнал, что дядюшка Дм. Ник. в Армии: это весьма дела его поправит.

Прощай, ma chère Annette: будь здорова, и не забывай друга и брата, который будет ожидать всегда писем твоих с нетерпением. Еду в Швецию, где никогда не бывал, но где надеюсь найти знакомых. Будь здорова, и пиши по чаще.

Письмо это, сообщенное В. С. Арсеньевым, было напечатано без всяких пояснений в **Русском Архиве** (1915, III, 391-393). Оно относится к 1812 г., когда Козловский был назначен чрезвычайным посланником и полномочным министром в Сардинию и отправился к месту своего служения через Англию, где задержался на несколько месяцев. Письмо интересно тем, что проливает некоторый свет на отношение Козловского к сестрам, и для характеристики Козловского как человека. Это одно из очень немногих пока известных нам личных писем Козловского.

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Письмо Козловского гр. М. С. Воронцову

Настоящее письмо будет доставлено Вам г-жей Мэри Берри, которая была так добра, что попросила у меня письма к вашему превосходительству. Я рад, что она хочет познакомиться с Вами поближе, ибо я слишком люблю свою родину, чтобы не думать все время, что одна и та же почва родила нас. Г-жа Берри—особа, отличающаяся в высокой степени своей просвещенностью, своим вкусом к литературе и правильными понятиями о многих вещах, за исключением тех, на которые мы смотрим по разному, так как я, граф, притязаю на то, чтобы рассуждать всегда хорошо и действовать всегда плохо для своих интересов.

Я с нетерпением ожидаю Истории Карамзина; но, почтеннейший граф, скажите, не стыдно ли в 1818 году выдавать Российскую Историю и остановиться на какой эпохе? На XVII веке, т. е., так сказать, там, где начинается та часть Русской Истории, которая может просветить гражданина в истолковании состава нравов народа Русского и дать государственному человеку познание, каким образом сия империя из оборонительной сделалась наступательною властию. Московский и Нейштатский трактаты переменили совершенно политическое положение России. Первая ревизия и указ,

по которому всякий дворянин Русский должен заслуживать дворянство, дали новый образ нашим нравам. Чему же научит чтение Истории, которая ничего о сем не говорит, и, хотя для любителей древности всякое событие древних времен привлекательно, может ли кто-нибудь из Французов или Англичан, кроме вышеупомянутых читателей, порадоваться о издании новой книги, нетерпеливо ожидаемой, в которой историк бросил перо при восшествии на престол Франциска I-го или Генриха VIII-го?

Примите, граф, выражение почтительной преданности, которую я на всю жизнь ношу в своем сердце.

Письмо это, без даты, адресовано гр. М. С. Воронцову в Мобеж, где в то время находилась главная квартира русского оккупационного корпуса во Франции. Писано оно, вероятно, в начале 1818 г. Первый абзац и заключительное обращение писаны по французски, остальное—по русски. О мисс Мэри Берри см. выше, в тексте. Письмо, вместе с другим, малоинтересным, письмом Козловского Воронцову, напечатано в т. 36 «Архива кн. Воронцова».

О личных отношениях Козловского с Воронцовым известно мало. Гр. Михаил Семенович Воронцов (1782-1856), сын б. посла в Лондоне, гр. С. Р. Воронцова, выдвинувшийся в наполеоновскую кампанию 1812-14 гг., в дальнейшем генерал-губернатор Новороссии, светлейший князь, наместник Кавказа, покоритель Шамиля, был, как и его отец, просвещенный либерал-англоман (злая эпиграмма на него Пушкина—«полу-милорд, полу-невежда» —едва ли справедлива). В царствование Александра I М. С. Воронцов принадлежал к кругам либеральной англофильской оппозиции, и умонастроение его должно было быть близко Козловскому (о связи Воронцова с «оппозицией» Александру I в 1817-1821 гг. и о его либерализме см. интересную статью А. Н. Шебунина "Пушкин и «Общество Елизаветы»" в т. I «Временника Пушкинской Комиссии», Москва-Ленинград, 1936).

Мнение Козловского об «Истории» Карамзина, высказанное еще до выхода ее в свет, интересно сопоставить

с тем, что писал Белинский почти 25 лет спустя в статье «Русская литература в 1841 г.» Статья эта написана в форме диалога между А. и Б., и на слова Б. о том, что Карамзин (к которому Белинский относился свысока) как никак написал «Историю Государства Российского», А. (сам Белинский) отвечает: «Не написал, а только хотел написать, но не успел кончить и предисловия. Государство Российское началось с творца его Петра Великого, до появления которого оно было младенец, хотя и младенец-Алкид, душивший змей в колыбели; но кто же пишет историю младенца! О младенчестве великого человека упоминается, и то мимоходом, только в предисловии или введении в его историю».

Впрочем, из заявлений его Кюстину мы видим, что для зрелого Козловского ранний период истории Руси был не столько младенческим, сколько героическим. Отрицательно он относился к московскому периоду, в котором видел прежде всего торжество абсолютизма и порабощение народа.

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Письмо Козловского к Рахили Фарнгаген

В 1824-25 г. Козловский был частым гостем в берлинском салоне Рахили Фарнгаген (Rahel Antonie Friederike Varnhagen, ур. Levin, 1771-1833), блестящей, умной и тонкой жены Фарнгагена фон Энзе (о знакомстве Козловского с ним см. выше), оставившей крупный след в истории немецкого романтизма: личность во многих отношениях выдающаяся, внутренне гораздо более значительная, чем ее муж, который ее боготворил, она в порядке личных отношений оказала сильное влияние на многих немецких романтиков, но круг ее знакомств выходил и за пределы германской литературы.

В изданной ее мужем книге писем и дневниковых записей Рахили имеется письмо ее к г-же фон Гротгусс от 24-го декабря 1824 г., в котором дается следующая, немного двусмысленная характеристика Козловского:

«У нас здесь сейчас очень оригинальный, умный иностранец: князь Козловский, русский, бывший посланник в Турине, Штутгарте и Карлсруэ, чувствующий себя как дома во Франции, в Англии, в Италии, полный жизни и остроумия. Он далеко перерос так называемый большой свет; нуждается однако в нем, равно как и в больших разговорах и большом интересе. Его происхождение открывает перед ним все салоны—там к его услугам большой свет; большой разговор он сам там поставляет, и притом для себя одного; а при своем огромном светском честолюбии он создает, также для себя одного, и большой интерес с помощью небольших средств».

Доров в своей книге приводит следующее письмо, с которым Козловский обратился к Рахили Фарнгаген перед своим отъездом из Берлина, очевидно в 1825 г., и французский оригинал которого, должно быть, хранится в рукописном собрании Фарнгагена:

> Я доволен, что не застал Вас. Я избегаю тягостных ощущений, а для меня было бы тягостно проститься с Вами. Да почиет на Вас благословение небес, да поддержит оно Вас, да просветит, да даст Вам силы пройти с кротостью сужденный Вам путь!—Что до меня, то, если бы не было у меня обязанностей на земле, клянусь Вам, я особенно не держался бы за нее. Сделайте так, чтобы я услышал о Вас. Не ищите счастья, ибо его нет; продолжайте творить все то добро, которое Вы творите, продолжайте прощать, как Вы всегда прощали—молитвы бедняка, как и молитвы дружбы, доходят прямо до неба. Простите.

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Козловский и Николай I

В книжке Д о р о в а напечатан отрывок из французских воспоминаний Козловского. Несколько страниц в этом отрывке посвящены впечатлениям от встречи с будущим императором Николаем I, тогда еще великим князем, в 1824 г. в Добберане (Мекленбург). Приводим ниже эту любопытную характеристику, небольшой отрывок которой с неточностями и пропусками (опущены были все сколько-

нибудь неблагоприятные суждения) был напечатан в **Русской Старине** («Несколько слов в память императора Николая I-го», июнь 1896 г., стр. 456-457). Несколько более длинные выдержки из этих же воспоминаний были приведены еще Вяземским в его статье 1868 г. Из книги Дорова их перепечатал также Шницлер (см. Библиографию).

Природа наделила великого князя одним из самых прекрасных даров, какие она может дать тем, кого судьба поставила выше других: у него самая благородная наружность, какую я когда-либо видел. В обычном выражении его лица есть что-то суровое и мизантропическое, что смущает. Его улыбка—улыбка снисхождения, порождаемая не веселостью или непринужденностью. Привычка подавлять последние настолько сроднилась со всем его существом, что в нем не замечаешь никакого принуждения, никакого замешательства, ничего надуманного, а между тем все его слова, как и все его движения, подчиняются какому-то ритму, как будто перед ним лежит лист нотной бумаги. Во всей повадке этого человека есть что-то граничащее с чудом. Он говорит живо, совершенно просто и весьма кстати; все, что он говорит, умно; ни одной банальной шутки , ни одного обидного или неуместного слова; ни в тоне голоса, ни в том, что он говорит, нет ничего, что бы обличало гордость или скрытность, а между тем вы чувствуете, что сердце это закрыто, что преграда эта неприступна и что было бы безумием надеяться проникнуть в его задушевные мысли или завоевать полностью его доверие. Это выражение своего лица он передал даже до некоторой степени своей жене. Взгляд у нее часто бывает подозрительный и испытующий, что плохо вяжется с гармоническими чертами ее от природы кроткого и изящного лица. Один француз, который часто видал ее до ее брака и видимо много наблюдал ее, сказывал мне, что у нее всегда было улыбающееся и открытое выражение. Но, может быть, я и ошибаюсь: не пример великого князя открыл его жене тайну недоверчивости к человеческой породе, а скорее русский двор внушил им обоим этот сдержанный и недоверчивый вид—тот печальный двор, где со времен Меньшиковых и Остерманов всякая нравственная независимость, всякая возвышенность души рассматривается с удивлением как чуждые элементы, и

где козни и интриги беспрерывно шипят как змеи в уши царствующих особ. Несмотря на этот недостаток, лицо у великого князя такое благородное, что я не мог насмотреться на него. Если мои исторические впечатления верны, он мне напоминает Людовика XIV с поправкой на дух нашего века. У него перед Людовиком то преимущество, что он получил более тщательное образование или же сам приобрел знания, которых у французского короля не было. К тому же у него еще то отрицательное преимущество, что он не предается тем увлечениям слабого сердца, которые, что бы ни говорили, часто роняли короля в глазах народа. Великий князь не только занимается мелочами военного устройства, но и, сказывают, отличный инженер, а следовательно и хороший математик. Он много читает, и все его окружение уверяло меня, что он обладает в высшей степени тем даром внимательности, который, согласно памятному определению Монтескье, не что иное как гений. Характерные для всех членов его дома слова до сих пор у меня в памяти, как будто я сейчас с ним говорю. Речь шла о Париже. Он сказал мне, что не видит никакой возможности побывать там; разве что—прибавил он (это было в последние месяцы жизни Людовика XVIII)—меня пошлют поздравить нового монарха. —«Но Ваше Императорское Высочество слишком высоко поставлены для этого», сказал я ему. «Ничуть», ответил он, «меня могут послать как любого другого». Эта привычка умалять себя как великих князей характерна для них, но этому нечего радоваться. Разве все время подчеркивать, что даже великие князья не имеют никаких прав, присущих их высокому рождению и ограничивающих согласно установленному порядку волю самодержавной власти, не значит совершенно подавлять всех остальных? Чем же должен себя ощущать простой смертный? Непостижимой уму фикцией; чем-то воображаемым, вроде квадратного корня из отрицательной величины в математике. Великий князь пока что довольствуется положением генерала, но все указывает, что он подходит и для роли государственного человека, и если закончит жизнь, не ознаменовав ее великими деяниями, то не выполнит своего призвания, ибо природа как бы предназначила его для таковых. Я не сомневаюсь, что он даст своему сыну отличное образование, но опасаюсь, что, занимая его точными науками, он упустит внушить ему вкус к литературе и особенно к поэзии. Такой вкус

был бы одним из величайших благодеяний для будущей России, ибо русская действительность имеет такое печальное влияние на характер, что совершенно необходимо противопоставить ему волшебные чары воображения. Август говорил, что римляне призывают его к тирании, но что Мецены и другие знаменитые друзья указывают ему в своих стихах иной путь, усыпанный розами и в то же время менее тернистый. В сущности, именно очарованию поэзии Август обязан оправданием своих первых политических актов и своей славой как правителя в признательной памяти потомства. Если великий князь Николай вступит когда-нибудь на престол, я не сомневаюсь, что ему будут служить с усердием, не потому, что он завоевывает сердца непринужденностью, подобно Генриху IV, а потому что люди любят повиноваться государю, которого всегда можно показывать с гордостью, к которому население может по справедливости применить два знаменитых стиха из «Береники» и который, под печатью природной величавости, обладает высоким умом, лишь усиливающим производимое наружностью впечатление...

В этой тонкой и отнюдь не льстивой характеристике государя, которому Козловский ранее предсказывал «железное» царствование, Козловский высказал много задушевных мыслей: и о подавлении личности в России, и о желательности смягчения российской действительности волшебными чарами поэзии.

В последние годы жизни, уже в России, Козловскому, благодаря близости с вел. кн. Михаилом Павловичем и его супругой, при дворе которых он, по словам Вяземского, сделался «приближенным и почти домашним», пришлось снова встретиться с императором Николаем. Последний проявил к нему благоволение. Вяземский рассказывает, как однажды государь явился на вечер в Михайловский дворец. В числе гостей был Козловский, тогда еще с трудом передвигавшийся на костылях. Государь прошел прямо к нему. Козловский сделал попытку встать, но государь усадил его. «Козловский повторял свои попытки. Государь—свои сопротивления. Помилуйте, Государь, сказал Козловский, когда сижу пред вами, мне кажется, что шестьдесят миллионов подданных лежат

у меня на плечах». (Доров передает этот рассказ немного иначе).

По словам Вяземского, присутствовавший при этой сцене вел. кн. Михаил Павлович сказал, смеясь: «Посмотрите на О-Коннелля в подобострастном замешательстве». [О-Коннелль был знаменитый ирландский демагог и оратор, ратовавший за эмансипацию ирландских католиков. Возможно, что в кружке вел. кн. Михаила Павловича Козловский слыл под этой кличкой. Между Козловским и О-Коннеллем было внешнее сходство].

Вяземский говорит, что государь продолжал милостиво разговаривать с Козловским и спросил его между прочим, зачем он хочет служить в Варшаве. «Чтобы проповедовать Полякам любовь к Вашему Величеству и к России», гласил ответ Козловского. На это император будто бы ответил, улыбаясь: «Ну, как вы ни умны, а при всем уме и дарованиях ваших, вероятно, цели вы своей не достигнете».

ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Козловский о папстве и религиозном вопросе

В качестве иллюстрации отношения Козловского к римской церкви весьма интересна следующая выдержка из одной из его официальных депеш, которую он, следуя своему тогдашнему обыкновению, сообщил своему французскому коллеге графу де Габриаку, а последний включил в свое донесение главе французского кабинета, герцогу Ришелье. Донесение Габриака датировано 25 января 1818 г. Приводимая ниже выдержка была напечатана Пэнго в его статье о Козловском.

Принимая во внимание безрелигиозную тенденцию умных людей нашего времени, поистине удивляешься, когда находятся люди, которые добросовестно путают Григория VII с Пием VII и одиннадцатый век с девятнадцатым. Вспоминается философское изречение Джонсона, который больше пятидесяти лет тому назад сказал, что говорить о суеверии в наше время—то же, что звать тушить пожар во время потопа. Непостижимая

война, которую почти все правительства ведут с папой, происходит именно от этого смешения эпох, людей и обстоятельств. Неужели те, кто во Франции так тревожатся о свободах галликанской церкви, забыли, что когда-то у них был общественный культ Разума, а Лаланд напечатал свой «Словарь безбожников»? Знакома ли им даже знаменитая «Декларация духовенства»? Бросив взгляд на вступление, они бы увидели глубокое уважение к верховенству Святейшего Престола у того самого Боссюета, к чьему великому имени они так некстати взывают, чтобы осудить отказ Папы признать епископом соблазнительного человека и чтобы заклеймить учение Папы как фанатизм, потому что он говорит, что брак не есть просто свободный договор. Но в этих упреках столько же невежества, сколько безрелигиозности. В наши дни католики, которые отрываются от церкви, кончают не протестантизмом, а этим именно состоянием индифферентизма и безрелигиозности. Вообще на путях свободы трудно остановиться, и в наше время уже не существует, как в пятнадцатом веке, того всеобщего уважения к Евангелию, которое тогда еще не решались атаковать в лоб. Католические правительства должны поэтому теперь, если они хотят, чтобы их подданные отказались от всех евангельских верований, отдалить их от Папы и спорить с ним. Но если, напротив, они хотят сохранить их христианами, то им следует не только не ослаблять авторитет Святейшего Престола, а укреплять его, потому что он один может остановить распущенность и возродить нравственность в католических странах.

Папа не преследует никакого интереса своим отказом в отношении г-на фон Вессенберга, которого охраняют его связи в Германии, великий герцог Баденский и Вюртембергский король, и со стороны этих государей было бы поэтому политично, если бы, примкнув к его мнению, они проявили к религиозным убеждениям части своих подданных уважение, которое пошло бы на пользу их авторитету, и если бы они последовали мудрому примеру, данному баварским двором в заключенном им конкордате: двор этот выбрал самый верный путь для утверждения религии, а следовательно и нравственности своего народа.

Этой выдержке из депеши Козловского Габриак предпослал свои соображения, в которых указывал на уважение Козловского к проникающим католическую

церковь началам неизменности, единства и дисциплины. По его словам, Козловский пользовался всяким случаем, чтобы со всей необходимой осмотрительностью «ратовать за это дело перед своим двором».

Барон Вессенберг[1] во время Венского Конгресса делал попытки создания германской национальной церкви, более или менее независимой от Папы. В 1817 г., когда он был выбран епископом Констанцским, Папа отказался утвердить это избрание. Козловский в своей депеше заявляет себя решительным противником «галликанского» принципа независимых национальных церквей и вступается за авторитет папства.

Герцог Ришелье,[2] тогдашний глава французского кабинета, эмигрантом жил в России и был генерал-губернатором Одессы, которая, как город, очень многим была ему обязана: имя его увековечено в памяти каждого одессита.

Сам Габриак,[3] который в 16 лет был пажем Наполеона, а в 1814 г. был причислен к французской миссии в Турине, вскоре после этого был переведен в Петербург первым секретарем посольства. Позднее был посланником в Швеции, в Бразилии и в Швейцарии, а при Наполеоне III—сенатором.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ignaz Heinrich Karl, Freiherr von Wessenberg (1774-1860).
2. Armand-Emmanuel du Plessis, duc de Richelieu (1766-1822).
3. Paul-Joseph-Alphonse de Cadoine, marquis de Gabriac (1792-1865).

ПРИЛОЖЕНИЕ X

Козловский и Пушкин

1. Козловский, Пушкин и Ювенал

Когда именно произошло знакомство Козловского с Пушкиным, мы точно не знаем; вероятно, не позже декабря 1835 г. Первое известное нам упоминание о Козловском по его приезде из Варшавы в Петербург находится в письме кн. П. А. Вяземского А. И. Тургеневу от 30-го ноября 1835 г.:

> Здесь Козловский,—все еще на костылях и вообще, кажется, ковыляет, по крайней мере доныне. О себе еще ничего не знает.[1]

Вероятно, незадолго до этого Козловский и появился в Петербурге. К концу декабря он уже головой окунулся в петербургскую светскую жизнь и часто бывал у Вяземского, где, по всей вероятности, и познакомился с Пушкиным. 29 го декабря Вяземский писал тому же Тургеневу:

> Козловский очень разъездился и доволен своим пребыванием; еженедельно по нескольку раз обедает у великого князя.[2] На днях витийствовал он у меня за полночь. Как он похож на Василия Львовича[3] с костылями своими, но очень мил и забавен.

19-го января 1836 г. Вяземский писал Тургеневу:

> Козловский продолжает у меня по временам перорировать, когда нет где бала или маскарада в городе, потому что его всюду носит. Любезность его не истощается здесь и не застывает, хотя и боится он, что станет его только на несколько месяцев, а там обветшает, и никто на него смотреть,—это бы еще не беда,—а никто слушать не будет.*

К этому времени Козловский уже стал сотрудником пушкинского «Современника», и в продолжении того же письма (от 25-го января?) Вяземский писал Тургеневу:

---

*В эти дни я заметил, что он очень глохнет: вот еще сходство с Василием Львовичем. (Прим. Вяземского)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Статья Козловского об "Annuaire du bureau des longitudes" очень хороша.

В течение весны и лета 1836 г. в письмах Вяземского Тургеневу есть еще несколько красочных упоминаний о Козловском. Так, Вяземский писал:

Бедный Козловский пережрался и изъездился. Теперь сидит с лихорадкою, пыхтит и сопит, как курящаяся огнедышащая гора.

В письме от 2-го ноября Вяземский говорит о Козловском уже в прошлом времени: к этому времени Козловский несомненно уже отбыл к месту своей новой службы в Варшаве.

Вероятно, в Петербурге Козловский и Пушкин не раз встречались. Но в переписке Пушкина есть только одно упоминание о Козловском: в черновом (повидимому, неотосланном) письме Чаадаеву от 19-го октября, где Пушкин пишет, что Козловский был бы его провидением, если бы вздумал стать писателем.

Когда именно Козловский просил Пушкина перевести десятую сатиру Ювенала, мы тоже не знаем. Первое упоминание об этом встречается в письме Вяземского И. И. Дмитриеву, уже много спустя после смерти Пушкина. 17-го июня 1837 г. Вяземский писал ему:

Незадолго до кончины Пушкин перечитывал ваши сочинения и говорил о них с живейшим участием и уважением. Особенно удивлялся он мастерской отделке вашего шестистопного стиха в переводах Попе и Ювенала. Козловский убеждал его перевесть Ювеналову сатиру Желания,[4] и Пушкин изучал прилежно данные вами образцы . . .

В статье о Дмитриеве Вяземский писал позднее:

Князь Козловский просил Пушкина перевесть одну из сатир Ювенала, которую Козловский почти с начала до конца знал наизусть.[5] Он преследовал Пушкина этим желанием и предложением. Тот, наконец, согласился и стал приготовляться к труду. Однажды приходит он ко мне и говорит: «А знаешь ли, как приготовляюсь я к переводу, заказанному мне Козловским? Сейчас перечитал я переводы Дмитриева латинского

поэта и английского Попе. Удивляюсь и любуюсь силе и стройности шестистопного стиха его».[6]

Еще позднее, в статье 1840 г. о Козловском, Вяземский снова вспоминал об этом:

...Пушкин перед концом своим готовился к этому труду; помню даже, что при этом случае Пушкин перечитывал образцы нашей дидактической поэзии и между прочим перевод Ювеналовой сатиры Дмитриева и любовался сим переводом как нечаянною находкою. Это был род примирения и литературного покаяния. Пушкин бывал прежде несколько несправедлив во мнении своем о достоинстве и заслугах поэзии Дмитриева, будто уже устаревшей...

...После смерти Пушкина настойчивый князь Козловский передал Жуковскому исполнение любимой задачи своей, обещаясь написать комментарии и примечания к сему творению...[7]

От пушкинского перевода остался следующий набросок, который обычно датируется августом 1836 г.:

От западных морей до самых врат восточных
Не многие умы от благ прямых и прочных
Зло могут отличить... рассудок редко нам
Внушает ....

«Пошли мне долгу жизнь и многие года!»
Зевеса вот о чем и всюду и всегда
Привыкли вы молить—но сколькими бедами
Исполнен долгий век! Во-первых, как рубцами,
Лицо морщинами покроется—оно
.... превращено.
Мартышка старая ....
Которая в лесах Табрации ....
Кривляясь, чешется ....[8]

Тогда же Пушкин набросал следующее, оставшееся тоже незаконченным, послание к Козловскому, которое показывает, что в своей работе над Ювеналом он наткнулся и на какие-то внутренние препятствия:

Ценитель умственных творений исполинских,
Друг бардов английских, любовник муз латинских,
Ты к мощной древности опять меня манишь,
Ты снова мне .... велишь.
Простясь с .... мечтой и бледным идеалом,

Я приготовился бороться с Ювеналом,
Чьи строгие стихи, неопытный поэт,
Стихами перевесть я было дал обет.
Но, развернув его суровые творенья,
Не мог я одолеть пугливого смущенья...
Стихи бестыдные приапами торчат,
В них звуки странною гармонией трещат—[9]

2. Козловский—пушкинский «полонофил»?

Среди незаконченных произведений Пушкина имеется набросок—вернее, даже остов—послания, навеянного событиями польского восстания 1830-31 г. В десятитомном советском юбилейном собрании сочинений Пушкина 1949 г., набросок этот печатается в следующем виде:

Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды чистый лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел.

Когда безмолвная Варшава поднялась,
И бунтом Польша опьянела,
И смертная борьба...... началась,
При клике «Польска не згинела!»—

Ты руки потирал от наших неудач,
С лукавым смехом слушал вести,
Когда....... бежали вскачь,
И гибло знамя нашей чести.

.... Варшавы бунт ......
.... в дыме
Поникнул ты главой и горько возрыдал,
Как жид о Иерусалиме.

В более ранних изданиях, например в издании под редакцией С. А. Венгерова (Брокгауз-Эфрон) дается более длинный, но менее связный текст, со множеством вариантов, переправок и пропусков. Здесь обращают на себя внимание следующие строки, идущие непосредственно за приведенным выше первым четверостишием:

Ты пил здоровье Лелевеля
Ты славил имя Лелевеля

И дальше:

[Когда французск.] пустомеля
Ревел на кафедре ты.... у...
Здоровье .... Лел...

Набросок этот впервые был напечатан, с утраченного впоследствии чернового автографа, И. А Шляпкиным в его книге «Из неизданных бумаг Пушкина» (1903 г.). Датируется он обыкновенно 1831-1834 гг., причем и в издании Венгерова, и в некоторых позднейших печатается под 1834 г. с указанием, что адресат послания не установлен.

Вопросом об адресате впервые вплотную занялся В. А. Ледницкий, тогда профессор Краковского, а ныне Калифорнийского университета, в своей большой работе, напечатанной в первом томе превосходного, им же редактированного двухтомного польского сборника работ и исследований о Пушкине, выпущенного в связи с столетием смерти Пушкина.[10] Еще до В. А. Ледницкого П. И. Бартеневым было высказано предположение, что Пушкин мог обращаться к Чаадаеву.[11] Ледницкому, который установил наличие интересных параллелей между «Предками» Мицкевича и «Философическим письмом» Чаадаева,[12] эта гипотеза показалась соблазнительной, и он подверг тщательному разбору все доводы за и против нее. Строки, обращенные к человеку, который «нежно чуждые народы возлюбил и мудро свой возненавидел», могли, конечно относиться к Чаадаеву. Взгляды Чаадаева были известны Пушкину задолго до опубликования т. н. «Первого» письма 1836 г. в «Телескопе». Но среди доводов, говорящих против отождествления адресата пушкинского послания с Чаадаевым, есть один, по мнению В. А. Ледницкого, «почти решающий»: Чаадаев никогда полонофилом не слыл. Никаких полонофильских высказываний его мы не имеем. Более того: в приписке к своему письму Пушкину от 18-го сентября 1831 г. Чаадаев горячо приветствует «анти-польские» стихи Пушкина, его «Бородинскую годовщину» и «Клеветникам России».[13] В. А. Ледницкий пробует отвести эту приписку Чаадаева ссылкой на возможное приспособление Чаадаева к цензуре, но тут же сам вынужден признать несостоятельность этого отвода, ибо в той же приписке имеются строки, не оправдывающие такого толкования (не

говоря уже о том, что странно было бы в постскриптуме стараться ради цензуры замазывать смысл самого письма).

Таким образом, как ни соблазнительна кажется ему гипотеза о Чаадаеве, В. А. Ледницкий вынужден искать другую возможность адресата. Таковым представляется ему кн. П. А. Вяземский. В отличие от Чаадаева, и кн. П. А. Вяземский и А. И. Тургенев искренне возмущались патриотическими анти-польскими стихотворениями Пушкина и Жуковского по случаю взятия Варшавы. А. И. Тургенева Ледницкий не принимает серьезно в расчет, и правильно: при всем несочувствии позиции Пушкина в этом вопросе, он вынужден был держаться крайне осторожно в интересах своего брата, осужденного заочно по делу декабристов и проживавшего заграницей. Да и слова о «мудрой ненависти» к своему народу едва ли звучали бы уместно в отношении Тургенева. Что касается Вяземского, то и из его писем, и из писем Тургенева мы знаем, как он осуждал «шинельные» стихи Пушкина и как жестоко с ним на эту тему спорил. У Вяземского, который в молодости служил в Польше при Новосильцове, были известные симпатии к Польше (впоследствии в значительной мере выветрившиеся): он завязал связи в польском обществе, он интересовался польской литературой, покровительствовал Мицкевичу и переводил его. Но всетаки представить его себе пьющим здоровье Лелевеля—если только слова эти не есть поэтический троп —трудно. Первые строки наброска тоже едва ли относимы к Вяземскому, хотя он однажды и позволил себе следующую жестокую бутаду о Росссии: «Я—европейское растение: мне в Азии смертельно. В Азии и лучше меня живут —не спорю, да я жить не могу: черви меня заедают» (в письме А. И. Тургеневу от 12-го ноября 1827 г.)

Явно, что самого В. А. Ледницкого кандидатура Вяземского соблазняет гораздо меньше; он не подвергает ее столь тщательному разбору и в конце концов вынужден признать, что загадка остается неразгаданной: «Полагаю, что это либо кн. Вяземский, либо Чаадаев— tertium non datur».

Я позволю себе высказать предположение, что «третье дано» и что третьим и наиболее вероятным кандидатом на место пушкинского полонофила, который «потирал руки» от русских неудач под Варшавой, слушал вести о них «с лукавым смехом», «пил здоровье Лелевеля» и после падения Варшавы «горько возрыдал, как жид о Иерусалиме», является кн. П. Б. Козловский.

В. А. Ледницкий в своем анализе пушкинского наброоска исходит из предположения, что он был написан в конце 1831 г., вскоре после подавления восстания, но сам указывает, что мог он быть написан и позже, даже в 1836 г. Если мы допустим, что набросок относится к концу 1835 г. или к 1836 г., кандидатура Козловского сразу становится возможной.

Есть все основания думать, что еще во время Венского Конгресса Козловский, в отличие от Поццо ди Борго и некоторых других русских дипломатов, сочувствовал либеральным планам императора Александра в отношении Польши. Позднее он, как последовательный либерал, приветствовал, как мы видели, дарование Польше конституции. Правда, в архиве венской тайной полиции сохранился один не очень лестный отзыв Козловского о поляках. Какой-то анонимный осведомитель сообщал начальнику тайной полиции барону Гагеру,[14] что Козловский якобы называл князя Адама Чарторыйского «высокомерным интриганом» и прибавлял: «У поляков есть то общее с пруссаками, что они податливы и угодливы, когда им не везет, а при удаче горды и надменны».

Более, чем вероятно, что в 1830-31 гг. симпатии Козловского были на стороне поляков: живя заграницей, он был близок к либеральной оппозиции во Франции и в Англии и к католическим кругам, т. е. к той именно среде, в которой польское дело привлекало наибольшие симпатии и в которой было особенно сильно возмущение русским правительством. О про-польском настроении Козловского как будто говорит следующая лаконическая фраза в письме графини Гранвилль, жены английского посла

в Париже, ее сестре от 29-го сентября 1831 г.: «Встретила сегодня на Бульварах Козловского, толстого и робкого. Смеет ли русский показываться?» Последняя фраза в кавычках и по французски—очевидно, это слова самого Козловского, которому, вероятно, в эти дни, когда возмущение действиями русского правительства достигло во Франции своего апогея, было неприятно или даже стыдно показываться в обществе.

Был ли Козловский лично знаком с Лелевелем, мы не знаем. Но Козловского нетрудно представить себе пьющим здоровье Лелевеля в салоне у одного из «французских пустомель», как назвал их Пушкин (нет необходимости, вслед за В. А. Ледницким, предполагать, что адресат пушкинского незаконченного послания вызывающе подымал тост за Лелевеля в Москве). Это могло быть и в 1831 г., во время самого восстания, могло быть и позже, по прибытии Лелевеля во Францию; могло быть даже на том обеде в Брюсселе 25-го января 1834 г., «в годовщину свержения Николая I с польского престола, а также в память русского восстания 1825 г. и гибели русских патриотов», на котором Лелевель произнес свою знаменитую речь, где между прочим сочувственно упомянул Пушкина.[15]

К Козловскому не менее, чем к Чаадаеву, подходят начальные строки пушкинского наброска:

Ты просвещением свой разум осветил
. . . .
И нежно чуждые народы возлюбил
И мудро свой возненавидел—

«мудрую ненависть» тут надо, разумеется, понимать в чаадаевском смысле.

К Козловскому—гораздо больше, чем к Чаадаеву—подходят и слова о «лукавом смехе»: тонкую, лукавую усмешку его отмечали и Кюстин и другие.

Менее вяжутся, пожалуй, с общим обликом Козловского—пересмешника, салонного острослова, красно-

бая и любителя парадоксов—последние строки Пушкина («Поникнул ты и горько возрыдал—Как жид о Иерусалиме»), но они покажутся нам не столь уж невозможными в применении к Козловскому, если мы вспомним что́ писал о Козловском, прослезившемся над участью крепостных крестьян, Н. И. Тургенев и что́ говорил о горячности его убеждений Фарнгаген фон Энзе, а также фразу в письме графини Гранвилль в 1831 г.

Если счесть Козловского адресатом пушкинского наброска, последний следует датировать концом 1835 или первой половиной 1836 г. Эта датировка ничуть не менее вероятна, чем приурочение стихотворения к 1834 г., как это делают некоторые пушкиноведы, и более вероятна, чем написание по свежим следам, т. е. в 1831 г.: весь тон стихотворения скорее ретроспективный, гораздо более спокойный чем в «анти-польской трилогии», и в нем не чувствуется никакой враждебности к адресату-полонофилу. Напротив. Легко представить себе, что по приезде своем в Петербург, после годичного пребывания в Варшаве, Козловский, познакомившись с Пушкиным, беседовал с ним о польских делах, вспоминал польское восстание. Мы имеем этому и документальное подтверждение самого Пушкина: в заметке, которой открываются пушкинские «застольные россказни» (Table Talk), начатые им в 1836 г., приведен рассказ Козловского о разговоре его с Александром I по поводу меморандума, представленного Поццо ди Борго против воссоздания Польского Королевства. Нет никакого сомнения, что рассказ этот, в котором цитировались подлинные слова императора, Пушкин слышал от самого Козловского. Таким образом мы имеем его собственное свидетельство об интересе к польским делам в 1836 г., а также о том, что на польские темы он беседовал с Козловским. Неугомонный говорун и рассказчик, Козловский мог рассказать Пушкину и эпизод с тостом за Лелевеля, особенно если это произошло на обеде в Брюсселе, которым Пушкин, мы знаем, имел основания нарочито интересоваться. Об интересе самого Козловского к польским делам и о его «полоно-

фильстве» именно в 1836 г. достаточно говорит цитированная мной, до сих пор остававшаяся неизвестной русским исследователям (и даже в подлиннике не полностью опубликованная) переписка лорда Дарама с Пальмерстоном, равно как и самая история назначения Козловского в Варшаву.

Автор работы «Польское восстание по письмам Пушкина к Е. М. Хитрово», М. Д. Беляев, упоминая об «оставшемся пока не разгаданным русском полонофиле», к которому Пушкин обратил свое послание, писал: «Эти рваные строки, эти отдельные слова всё еще хранят в себе отголосок былых глубоких волнений, горячих споров, жестоких обид уязвленного национального чувства. Ни забыть, ни простить Пушкин не может, да и не хочет». И ссылаясь затем на запись в «Table Talk», сделанную со слов Козловского, Беляев продолжал: «Как видим, и дальше мысль Пушкина всё еще продолжала работать в этом направлении. Его всё еще живо интересовало всё, так или иначе относящееся к польскому вопросу» (см. «Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово. 1827-1832», Труды Пушкинского Дома, вып. XLVIII, Ленинград, 1927, стр. 297-98). Мысль о том, что возможным адресатом послания Пушкина был именно Козловский, не пришла в голову Беляеву.

Я не утверждаю, что мне удалось найти разгадку пушкинской загадки, но считаю, что моя гипотеза не только имеет право на приобщение к «делу» о пушкинском «полонофиле», но и весьма правдоподобна. Переписка Лелевеля, розыски в современных газетах или находка бумаг Козловского могут пролить дальнейший свет на это дело.

3. Козловский и смерть Пушкина

Смерть Пушкина застала Козловского в Варшаве. Как он реагировал на нее, мы не знаем. Из переписки с отцом сестры Пушкина, О. С. Павлищевой, тоже проживавшей в это время в Варшаве, нам известно, что

Козловский был одним из первых, получивших в Варшаве известия о дуэли Пушкина.[16]

Среди откликов Николая I на смерть Пушкина есть интересное письмо его к Паскевичу в Варшаву, от 4/16 февраля 1837 г., где он говорит о «трагической смерти» Пушкина, который «умер от раны за дерзкую и глупую картель, им же писанную, но, слава Богу, умер христианином», и затем прибавляет:

> Много хлопот нам наделала преглупейшая статья в Варшавской Польской газете, чтó прошу унять (вперед; подозреваю, не Козловский ли это затеял?)

Редактор «Русского Архива», П. И. Бартенев, известный своими работами в области пушкиноведения, воспроизводя это письмо из приложения к многотомному труду кн. А. Щербатова о Паскевиче, сделал следующее примечание:

> Во Всеобщей Газете (Gazeta Powszechnia) появилась льстивая статья с превыспренними похвалами самодержавию, какими полны современные нам некоторые Русские газеты. Государь Николай Павлович тотчас почувствовал, что подобными изъявлениями только роняется здравое понятие о верховной власти. Князь П. Б. Козловский жил у князя Паскевича. Это был необыкновенно-умный толстяк, некогда министр наш в Сардинии и тайный католик.

В доступных мне книгохранилищах в Америке я не мог найти названной варшавской газеты. В наиболее полной и недавней библиографии польской литературы о Пушкине[17] эта статья вообще не упоминается—возможно, что автор проглядел это упоминание в письме Николая I. Во всяком случае трудно представить себе, зная личность и взгляды Козловского, чтобы он был не только автором, но и инспиратором «льстивой» статьи «с превыспренними похвалами самодержавию», так что «подозрения» Николая I едва ли были основательны. Как отозвался на эти подозрения Паскевич, повидимому неизвестно. По поводу смерти Пушкина он отвечал государю: «Жаль Пушкина, как литератора, в то время, когда его талант созревал; но человек он был дурной».[18]

4. Кто был кн. Козловский, секундант гр. В. А. Соллогуба?

В указателе к советскому «монтажу» о Пушкине в воспоминаниях современников[19] к кн. П. Б. Козловскому ошибочно отнесены упоминания о кн. Козловском, который должен был быть секундантом гр. В. А. Соллогуба в несостоявшейся дуэли его с Пушкиным в 1836 г. Личность этого Козловского, которому Соллогуб оставил в Твери письмо для Пушкина (Пушкин был с ним «очень любезен и разговорчив»), до сих пор в точности не установлена. Но это был несомненно тот, проживавший в Твери, кн. Козловский, который не раз упоминается в «Дневнике» А. Н. Вульфа и переписке его сестры. Вульф называет его «юношей-поэтом». О нем же, очевидно, идет речь в относящихся к 1833 г. воспоминаниях Т. П. Пассек, писавшей: «К небольшому числу посещавших нас знакомых, сделанному нами в Твери, довольно часто присоединялся офицер стоявшего там кавалерийского полка князь Козловский. Он любил литературу и писал порядочные стихи.»[20]

Л. Н. Майков в свое время отождествил этого кн. Козловского как кн. Иону Михайловича, который в 30-х годах печатал стихи в «Библиотеке для чтения».[21] Но ошибочность этого отождествления была разъяснена А. С. Поляковым в примечании к дуэльному письму Соллогуба. [22] В каком родстве этот неведомый офицер-стихотворец был с кн. П. Б. Козловским, мне установить не удалось.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Речь, очевидно, идет о дальнейшей судьбе Козловского. Вопрос этот разрешился принятием его вновь на службу в министерство иностранных дел, а затем откомандированием в Варшаву.

2. Вел. кн. Михаил Павлович, брат Николая I.

3. Василий Львович Пушкин (1770-1830), дядя поэта, автор «Опасного соседа», арзамасец, друг Карамзина, Жуковского и Вяземского.

4. Децим Юний Ювенал (Juvenalis, ок. 60-ок. 140 г.) знаменитый латинский поэт «серебряного века», сатирик. «Желания»—встречающееся иногда французское заглавие 10-ой сатиры, начинающейся так: Omnibus in terris, quae sunt a Gadibus usque/ Auroram et Gangen, pauci dignoscere possunt. Эта сатира на тему тщеты людских желаний—едва ли не самая знаменитая и в свое время наиболее популярная сатира Ювенала. В XVIII и начале XIX в. она расценивалась очень высоко—Козловский был не одинок в этом отношении. Особенное восхищение вызывала яркая картина возвышения и падения Сеяна, фаворита императора Тиверия, а также выпуклое реалистическое описание зол долголетия. Можно предположить, что именно этими частями десятой сатиры особенно восхищался и Козловский: разительное изображение «премен счастия земного» в лице всесильного фаворита и тирана не могло не будить в нем отзывных струн. А жуткое реалистическое описание упадка человека в старости должно было впечатлять его, так сказать «от обратного»: и Вяземский и вел. кн. Елена Павловна свидетельствуют, что он суеверно боялся старости и смерти.

5. Вяземский. Собрание сочинений, т. I. И. И. Дмитриев (1760-1837) перевел в сокращенном виде 8-ую сатиру Ювенала («О благородстве»). Попе—знаменитый английский поэт Александр Поп (1688-1744).

6. О феноменальной памяти Козловского говорилось уже выше. Если Вяземский не слишком преувеличивал, лучшего подтверждения этому незачем и искать: в сатире Ювенала 366 стихов!

7. Жуковский этого желания Козловского, видимо, не исполнил: среди его произведений нет переводов Ювенала. Да и едва ли римский сатирик мог быть по душе ему.

8. Кроме последних четырех строк дается по десятитомному юбилейному изданию 1949 г. Набросок этот впервые был напечатан Н. В. Измайловым и Б. В. Томашевским в Полном собрании сочинений Пушкина в шести томах (Москва, 1930, т. II). Он датируется августом 1836 г., так как черновик находится на листе бумаги с водяным знаком «1834», на обороте которого написан черновик пушкинского «Памятника». Датировка эта вполне правдоподобна. Первые четыре строки у Пушкина соответствуют первым пяти с половиной стихам Ювенала. Следующие восемь недоработанных у Пушкина стихов соответствуют стихам 188-195 в подлиннике. То, что Пушкин с первых строк сразу перескочил к знаменитому описанию ужасов долголетия, может служить подтверждением того, что именно это место сатиры Козловский особенно ценил.

9. Дается по тому же изданию. Впервые напечатано В. Е. Якушкиным в **Русской Старине** (1884, кн. XII, стр. 527). Датируется августом 1836 г. по связи с переводом из Ювенала. «Стихи бесстыдные»—относится к дальнейшим стихам, живописующим разложение человека в старости.

10. **Puszkin 1837-1937.** Kraków, 1939. Tom I, 387-447: W. Lednicki. «Mój puszkinówski Table Talk (Dla puszkinistów). 13. Czaadajew, Mickiewicz, Puszkin, Custine, Dostojewski, Turgieniew a filozofia dziejów Rosji».

11. См. Пушкин. Сочинения, под ред. С. А. Венгерова, VI, 468. Ср. Ледницкий, цит. раб., 426.

12. См. цитированную выше работу.

13. См. **Сочинения и письма П. Я. Чаадаева,** под ред. М. Гершензона, Москва, 1913, i, 166. Чаадаев не называет стихотворений, но говорит о двух и прибавляет, что «стихотворение к врагам России [т. е. «Клеветникам России»—Г. С.] особенно замечательно». В этой приписке в конце знаменитые слова, которые еще больше подчеркивают восхищение Чаадаева: «Мне хочется сказать: вот наконец явился наш Дант».

14. Барон Franz von Hager (1760-1816).

15. См. **Дневник Пушкина 1833-1835,** под ред. Б. Л. Модзалевского. Москва-Петроград, 1923, стр. 13-14 и прим. на стр. 152-154. Ср. примечание М. Н. Сперанского к другому изданию Дневника (Москва 1923, Труды Гос. Румянцевского Музея, вып. I, стр. 399-400). Ср. также: Пушкин. Письма (1911 г., III, 96); W. Lednicki. Aleksander Puszkin. Studja. Kraków, 1926, 183-187; J. Lelewel. Polska i rzeczy jej. Poznan, 1864, xx, 188.

16. См. **Пушкин и его современники,** XII (1909), стр. 100 и 104.

17. Marjan Toporowski. «Puszkin w polskiej krytyce i przekładach. Zarys bibliograficzno-literacki» в **Puszkin 1837-1937.** Kraków, 1939, t. ii.

18. **Известия Отделения Русского Языка Ак. Наук,** 1896, i, 66. Цитирую по **Русскому Архиву,** 1897, i, 19.

19. С. Я. Гессен (ред.). Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. Ленинград, 1936.

20. **Русская Старина,** XVI (1876), 541.

21. Л. Майков. Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб., 1899, стр. 209.

22. А. С. Поляков. О смерти Пушкина (по новым данным). Труды Пушкинского Дома при Академии Наук. Петербург, 1922, стр. 77.

ПРИЛОЖЕНИЕ XI

1. Козловский и Гейне. — 2. Козловский и Бальзак. — 3. Козловский и кн. З. А. Волконская.

1. О знакомстве Козловского с Гейне известно пока мало, но повидимому это знакомство сыграло в жизни Гейне некоторую роль—на это указывает ряд биографов знаменитого немецкого поэта.

У них были общие знакомые, в частности чета Фарнгагенов, но первая встреча между Козловским и Гейне произошла помимо Фарнгагена, очевидно, случайно. Они познакомились летом 1826 г. на острове Нордерней в Северном море, где Гейне отдыхал тогда. В письме своему другу Фридриху Меркелю от 21-го августа 1826 г. Гейне писал:

> Я много общаюсь с князем Козловским, очень остроумным человеком.

Неделю спустя в письме тому же Меркелю Гейне писал:

> . . . Один русский князь, по имени Козловский, очень преданно помогает мне здесь коротать время. **Мы неразлучны,*** и он побывавший везде, большей частью в качестве посланника, рассказывает мне много интересного. Он пробуждает во мне охоту к **высшему свету.****

Осенью того же года, вернувшись к родителям в Люнебург, Гейне писал о своем пребывании в Нордерней Фарнгагену:

> . . . Вас, может быть, заинтересует, что я познакомился там с князем Козловским, который был Вашим коллегой, когда Вы были посланником в Карлсруэ. Он говорил о Вас, и особенно о г-же фон Фарнгаген, с большой теплотой. Как приятно мне было слушать похвалы г-же фон Фарнгаген из уст русского на песчаном острове в Северном море! Я очень подружился с этим русским, **мы были неразлучны,*** и позже снова виделись в гостиннице «Линденхоф» в Бремене. Он еще не

---

* Эти слова—по французски.

** Гейне употребил здесь английское выражение "high life".

знает, решится ли или нет вернуться в Россию.

Последние слова как будто указывают на то, что Козловский в 1826 г. рассматривал себя более или менее как эмигранта. Его смелые речи, его защита Н. И. Тургенева, его европейские знакомства и в самом деле могли навлечь на него неприятности в эпоху последекабрьской реакции. Вяземский недаром впоследствии говорил о Сибири и кибитке с фельдъгерем.

Биограф Гейне Штродтманн говорит, что Козловский своими рассказами об Англии побудил Гейне предпринять путешествие в эту страну в следующем году. Другой, более недавний, биограф Гейне, Макс Вольф, пишет: «Козловский первый указал ему на Англию, страну буржуазного либерализма, и пробудил в нем желание познакомиться с этим седалищем свободы». Гейне пробыл в Англии несколько месяцев весной и летом 1827 г. и особенно интересовался политической жизнью, часто посещая парламентские дебаты. Энтузиазм к Каннингу, которым проникнуты его «Английские фрагменты», несомненно был внушен ему отчасти Козловским. Козловский же, вероятно, привлек его внимание к вопросу об эмансипации ирландских католиков, тогдашней английской злобе дня, которой посвящена одна из главок «Английских фрагментов» Гейне. Возможно, что в Лондоне Гейне и Козловский встречались снова, хотя указаний на это в переписке Гейне нет.

Мнение Вольфа о том, что Козловский и Тютчев внушили Гейне идею о Николае I, как «рыцаре Европы» и «знаменоносце свободы», и преклонение перед Россией, в отношении Козловского представляется довольно фантастичным: трудно представить себе либерала Козловского, друга и почитателя Николая Тургенева, внушающим кому-либо подобные мысли в 1826 г. В отношении Тютчева этот домысел более правдоподобен. С Тютчевым Гейне познакомился и близко сошелся в Мюнхене в самом конце 1827 или начале 1828 г. (в письме Фарнгагену от 1-го апреля 1828 г. Гейне называет уже

Тютчева своим «любимейшим другом» в Мюнхене; в сестру его тогдашней невесты, впоследствии первой жены, он был влюблен). Про-русские заявления Гейне относятся к 1828-29 г., когда Россия выступила защитницей греков против Турции. Но и позднее Гейне проявлял руссофильство, довольно неожиданное со стороны либерала-космополита.

Для широты знакомств Козловского, и как свидетельство его привлекательности для самых противоположных натур, характерно, что он мог одновременно дружить с Гейне и с его коронованным недоброжелателем, прусским королем Фридрихом-Вильгельмом III.

2. Был ли Козловский лично знаком с Бальзаком, мы доподлинно не знаем. Но Бальзак был одно время в близкой дружбе с дочерью Козловского, Софьей, которой он даже посвятил один из своих разсказов (La Bourse) и которую называл фамильярно Sofka, Sof, Sophie и carissima Sofi. В точности характер их отношений неизвестен. Одно время между ними произошло охлаждение, которое приписывалось тому, что Софья Козловская послужила причиной отчуждения от Бальзака его приятеля Гаво (Gavault), который влюбился в молодую княжну. Впоследствии, однако, дружеские отношения возстановились.

Знакомство между Бальзаком и «Софкой» произошло, повидимому, около 1834 г. В 1836 г. она уже писала отцу, что очень любит Бальзака и что он чрезвычайно добр к ней. В этом письме, частично напечатанном в статье Анри Приора «Бальзак в Турине», Софья Козловская рисует весьма выразительный и красочный портрет знаменитого романиста. Письмо было, видимо, написано в ответ на запрос Козловского, находившегося в то время в Варшаве, об отношениях между Бальзаком и графиней Гвидобони-Висконти. Молва, между прочим, утверждала, что графиня была раньше любовницей самого Козловского, чем может быть и объясняется интерес последнего к этому роману. Графиня Гвидо-

бони (1804-1883), англичанка родом (она была урожденная Sarah Frances Lovell), славилась свооей красотой и умом. Об ее отношениях с Бальзаком биографы последнего говорят довольно противоречиво. Знакомство между Бальзаком и Софьей Козловской, по некоторым сведениям, произошло через нее. В переписке Бальзака есть ряд упоминаний о Софии Козловской. В письме от 20-го января 1838 г. Бальзак писал своей «Иностранке», графине Эвелине Ганской, на которой он под конец жизни женился (свадьба их, как известно, состоялась в России, в Бердичеве):

> Софи—дочь князя Козловского, брак которого не был признан. Вы, должно быть, слыхали об этом весьма остроумном дипломате, который состоит при князе Паскевиче в Варшаве.

Повидимому, несмотря на то, что брак Козловского не был официально «признан», и дети его считались незаконными, дочь пользовалась в Париже его фамилией, хотя и без титула.

Известны два письма Бальзака, адресованных самой Софье Козловской в марте 1842 г. Оба связаны с постановкой пьесы Бальзака **Les Ressources de Quinola** и написаны в дружески-фамильярном тоне. В одном из этих писем Бальзак просит передать поклоны матери Козловской и Стюберу. Повидимому, через Софью Козловскую Бальзак заводил связи среди русской аристократии в Париже. Софья Козловская вышла потом замуж за студента Консерватории Фалькон де Симье, занимавшего при Наполеоне III должность суб-префекта в разных провинциальных городах.

В сплетнических и злых анонимных воспоминаниях о Бальзаке, озаглавленных «Разоблаченный Бальзак» (см. Библиографию), много говорится о Козловском и его дочери, причем Козловский изображается как циничный и развратный дон-Жуан, хваставшийся своими победами над тысячей женщин. Если верить автору этих мемуаров, имя матери детей Козловского было Ребора. Она была миланской трактирной служанкой, которая якобы окру-

тила и разорила Козловского и изменяла ему направо и налево. Сын Козловского, согласно этому же анониму, покончил с собой еще при Людовике-Филиппе, чтобы избежать осуждения по делу о воровстве казенного имущества. Не менее зло пишет автор мемуаров о самом Бальзаке, о его жене, о графине Гвидобони и о других женщинах, сыгравших роль в жизни Бальзака. Сообщаемые им о Козловских сведения не поддаются проверке. Коечто несомненно принадлежит к разряду сплетен (так, по его словам, Козловский был отцом одного из сыновей графини Гвидобони, отцом же другого был Бальзак). Но есть в «Разоблаченном Бальзаке» и факты, несомненно указывающие на то, что автору были известны некоторые обстоятельства жизни Козловского. Например, он упоминает Стюбера (он пишет эту фамилию «Stubber») и называет его поверенным Козловского и его дочери, через которых он познакомился с графиней Гвидобони и стал заниматься и ее делами. Он упоминает также о пенсии в 4000 франков, которую получала Софья Козловская. Очевидно, это та пенсия, о которой говорит и Доров— только, по словам Дорова, она была назначена дочери Козловского императором Николаем, а по словам анонимного мемуариста, Софья Козловская получала ее от вел. кн. Елены Павловны, что звучит более правдоподобно даже.

3. Моя книга о Козловском была уже почти готова, когда мне удалось найти след отношений между Козловским и княгиней Зинаидой Александровной Волконской, отец которой, кн. А. М. Белосельский-Белозерский, был—как и Козловский, но значительно раньше— русским посланником в Турине. Женщина высоко одаренная, обладавшая музыкальным талантом, причастная к литературе (она писала стихи и рассказы по французски), интересовавшаяся наукой, при этом очаровательная и красивая (в нее был страстно, но безнадежно влюблен поэт Веневитинов), кн. З. А. Волконская прославилась своим московским салоном, в котором в 20-х годах встречался цвет московского общества.

В биографическом очерке кн. З. А. Волконской, составленном Н. А. Белозерской и напечатанном в **Историческом Вестнике**, приводится интересная выдержка из письма к ней кн. П. Б. Козловского. К сожалению, автор очерка не указывает ни источника, из которого почерпнуто это письмо, ни даты его, говоря лишь, что оно было написано тогда, когда научные занятия кн. Волконской «навлекли на нее злобу и насмешки ее великосветских знакомых». Козловского Н. А. Белозерская называет одним из друзей З. А. Волконской. В письме его отразилось его собственное скептическое отношение к высшему обществу. Вот эта выдержка:

> Души холодные, невежество и насмешки не должны сбивать вас с пути. Высшее общество имеет свои заслуги, но никогда в вещах сериозных; последних оно не терпит, потому что они стесняют его, указывают на умственные преимущества, которые не совместимы с его выглаженностью, безличностью, с тем, что составляет его сущность. Высшее общество отрицательно, в нем нет ничего выдающегося, следовательно ничего возвышенного. Музыка не для глухих, истинное знание не для пресыщенных, суетливых, насмешливых. Можно жалеть их, но не исцелить . . . Храните для ваших друзей тот источник, который освежает и обновляет все то, чего он касается.

Возможно, что в архиве кн. З. А. Волконской в Риме будут обнаружены другие письма Козловского к ней.

ПРИЛОЖЕНИЕ XII

О стихах Козловского

Вяземский, в статье 1868 г. писал: «Князь Козловский не был что называется ныне поэтом. Он, просто, писал стихи; по крайней мере в молодости, как и многие писали их в то время».

Козловскому не было еще 16 лет, когда он дебютировал стихами, напечатанными в «Приятном и полезном препровождении времени» (1798 г., чч. XIX и XX). В следующем году стихи его появились в «Ипокрене»

(1799 г., ч. I). К сожалению, в условиях моей работы над Козловским я не имел возможности ознакомиться с этими первыми стихотворными опытами Козловского. В 1801 г. Козловский напечатал отдельным изданием длинное стихотворение на воцарение Александра I под названием «Чувствование Россиянина при чтении милостивых манифестов, изданных Его Императорским Величеством Александром I-м 1801 года Апреля во 2-й день». В своей статье о Козловском (1868 г.) Вяземский приводит следующую выдержку из этого стихотворения:

Начало дел твоих прекрасно!
Хвалити и тому напрасно,
Кто-б их хвалить искусно мог.
Но благодарность—не искусство,
Она простого сердца чувство,
Ее глас слышит Бог.
Ах, часто в горести, в напасти
Несчастный слабый человек
В минуту сильной буйной страсти
Проступком помрачает век,
И с самой нежною душою,
Судьбы жестокою рукою
Во зло бывает вовлечен.
Судьи холодно рассуждают;
Рассудком сердце обвиняют,
Но ты на троне—он прощен,
Прощен и оживлен тобою!
Ты снова чувства дал ему.
Преступник с тронутой душою
Спешит к престолу твоему;
Перенеся удары рока,
Клянется убегать порока:
Как скорбь отцу нанесший сын
Перед самим собой винится,
Опять к семье своей стремится,
Опять он добрый гражданин.
Ты вспомнил обо всех на троне
В своем отеческом законе;
Сказал: всяк счастливо живи!
В моем правленьи нет угрозы,
Но слезы искренней любви.

Вяземский писал по поводу этого стихотворения:

Эти стихи имеют уже и то достоинство, что в них

слышится отголосок народного чувства, которое приветствовало воцарение Императора Александра. В отношении к сочинителю, здесь встречается первый признак человеческого чувства и нравственность политических убеждений, которые после укрепились в нем и которым он навсегда остался верен. С литтературной точки зрения, эти стихотворения замечательны какой-то спокойною сдержанностию и трезвостию выражений. Подобные свойства редко встречаются в молодых, начинающих стихотворцах. Им всегда хочется блеснуть какими-нибудь вычурами и смелыми скачками.

Дальше Вяземский прибавляет:

Впрочем, чтобы доказать беспристрастие наше, выставим несколько стихов, при которых улыбнется читатель от сравнения Москвы с Перуанкою.

Градов твоих всех мать, царица!
Москва тебя к себе зовет!
Тебя Российских стран столица,
Как Перуанка солнца, ждет.

Сравнение, может быть, и верное; но почему же оно забавно? Здесь заключается тайна литтературного приличия, которое трудно объяснить и определить.

В 1802 г.—также отдельной брошюрой—вышло стихотворение Козловского, озаглавленное «Его Сиятельству князю Александру Борисовичу Куракину, на выздоровление благодетеля». После этого, как поэт, Козловский как будто перестал появляться в печати. Но, как видно из писем А. Я. Булгакова, в Италию он приехал с репутацией человека, легко и охотно откликающегося на события стихами. Возможно, что, если бумаги его когда-либо будут отысканы, среди них найдутся и его ненапечатанные стихи.

ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

Козловский, Кюстин, Чаадаев. — Custiniana.

Книга Кюстина была, разумеется, запрещена в России, но запрещение это только способствовало усилению интереса к ней в русском обществе. П. В. А н н е н -

к о в в своих воспоминаниях говорит, что «несмотря на строгое запрещение, она читалась у нас повсеместно и возбуждала характеристикой некоторых лиц и событий саркастические толки втихомолку, очень невинные, но очень беспокоившие, однако же, административных людей эпохи».[1] Беспокойство это выразилось, между прочим, в появлении ряда полу-официозных «рефутаций», предназначенных не для русского читателя, которому не полагалось знать книгу, а для внешнего мира. Две из них принадлежали перу Я. Н. Т о л с т о г о, агента Третьего Отделения в Париже.[2] Сначала по французски, а потом в английском и немецком переводах вышла брошюра К. К. Л а б е н с к о г о.[3] По немецки и по французски выпустил свое опровержение Кюстина Н. И. Г р е ч,[4] который сам был спутником Кюстина и Козловского на «Николае I». Кюстин в своей книге пренебрежительно назвал его «каким-то русским ученым, грамматиком, переводчиком ряда немецких трудов, профессором какого-то института». Греч много раз заговаривал с Кюстином и пытался расспрашивать его, но Кюстин был осторожен с ним. «Этот человек очень мало вытянул из меня», писал Кюстин. «Либерализм» Греча показался ему после Козловского наигранным и подозрительным. В литературе было высказано предположение, что по приезде в Петербург Греч сделал донос на Козловского.[5]

Вероятно, русским правительством была инспирирована и книжка француза Э. Д ю э з а, где к беглому опровержению Кюстина присоединен был составленный в духе казенной благонамеренности очерк русской истории, а также рассказ о путешествии императора Николая I в Англию.[6] Вскользь коснулся книги Кюстина Ф. И. Т ю т ч е в в своем знаменитом письме к редактору **Аугсбургской Всеобщей Газеты,** Густаву К о л ь б у.[7] Возмущенный книгой Кюстина, Тютчев писал:

> Книга г. Кюстина служит новым доказательством того умственного бесстыдства и духовного растления (отличительной черты нашего времени, особенно во Франции), благодаря которым дозволяют себе относиться к самым важным и возвышенным вопросам

более нервами, чем рассудком, дерзают судить весь мир менее серьезно, чем, бывало, относились к критическому ризбору водевиля.

Но Тютчев был суров и к опровергателям Кюстина:

Они представляются мне людьми, которые, в избытке усердия, в состоянии поспешно поднять свой зонтик, чтобы предохранить от дневного света вершину Монблана! Нет, милостивый государь, мое письмо не будет заключать в себе апологии России. Апология России ... Боже мой! Эту задачу принял на себя мастер, который выше всех нас и который, мне кажется, выполнял ее до сих пор довольно успешно. Истинный защитник России—это история; ею в течение трех столетий неустанно разрешаются в пользу России все испытания, которым она подвергает свою таинственную судьбу ...

Н. К. Шильдер считал, что Тютчеву мог принадлежать, однако, и следующий отзыв о книге Кюстина, приведенный в дневнике Фарнгагена фон Энзе под 29 сентября 1843 г.:

У меня был камергер Т., привез поклоны из Москвы и Петербурга ... О Кюстине отзывается спокойно, внося поправки где требуется, но признавая достоинства книги. По его словам, она произвела в России замечательное действие: все образованные и дельные люди согласны более или менее с ее суждениями, почти не бранятся, даже хвалят стиль. Даже сам генерал Бенкендорф откровенно заявил императору, что «г. Кюстин лишь формулировал мысли, которые все, включая нас самих, давно имели на наш счет!»[8] Впрочем, государь рассержен попыткой отделить его от его народа. Т. говорит с большим пониманием о своеобразии русских и вообще славян, высказывая высокий исторический взгляд на исконный конфликт и национальную борьбу греческой и латинской церквей ...

Приведя эту выдержку, Шильдер замечает: «Не есть ли этот камергер Т. сам Ф. И. Тютчев, в таком случае любопытно сопоставить его отзыв о книге Кюстина в 1843 г. с вышеприведенным отзывом его 1844 г.»[9] Предположение Шильдера вполне правдоподобно: летом 1843 г. Тютчев ездил в Россию и в сентябре вернулся в Германию; перед отъездом из России он гостил в имении у Бенкен-

дорфа и потому легко мог сослаться на слова последнего. В таком случае этот устный отзыв, столь отличный от печатного, весьма знаменателен.

Кюстину собирался отвечать и кн. П. А. Вяземский. В письме В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу от 4/16-15/27 марта 1844 г. мы читаем:

> Жаль, что не докончил он [Вяземский] статьи против Кюстина; если этот лицемерный болтун выдаст новое издание своего четырехтомного пасквиля, то еще можно будет Вяземскому придраться и отвечать; но ответ должен быть короток; нападать надобно не на книгу, ибо в ней много и правды, но на Кюстина; одним словом, ответ ему должна быть просто печатная пощечина в ожидании пощечины материальной . . .[10]

Для мягкого и осторожного Жуковского—язык крайне резкий, но характерно признание наличие правды в книге Кюстина.

Будь жив Пушкин, вероятно и он присоединил бы свой голос к этому хору возмущения.

По иному, но с большой горечью и патриотической болью отозвался в своем дневнике на книгу Кюстина А. И. Герцен, который писал:

> Без сомнения, это самая занимательная и умная книга, писанная о России иностранцем. Есть ошибки, много поверхностного, но есть истинный талант путешественника, наблюдателя, глубокий взгляд, умеющий ловить на лету, умеющий по нескольким обращикам догадаться о массе. Всего лучше он схватил искусственность, поражающую на всяком шагу, и хвастовство теми элементами европейской жизни, которые только и есть у нас для показа. Есть выражения поразительной верности: un empire de façades . . . la Russie est policée, non civilisée . . . и др. Он глубоко подловил характер общества, описывая иронию и грусть его, подавленность и своеволие, он оценил национальный характер—это большое достоинство. Он успел в грубой, дикой и рабством искаженной физиономии разглядеть черты высоких свойств, прекрасных надежд и намеков. . . Теплое начало его души и добросовестность сделали особенно важной эту книгу, она вовсе не враждебна

России, напротив он более с любовью изучал нас и любя не мог не бичевать многого, что нас бичует... Слова его язвят и попадают метко, он называет правительство un mensonge couronné. Полный грусти, летит он за границу, и в Тильзите грудь его вздохнула свободно, гора свалилась с плеч. Он приехал в Россию с arrière-pensée враждебной европейскому либерализму, а уехал примирившись. Он советует недовольного француза прислать посмотреть Россию для излечения. Тягостно влияние этой книги на русского, голова склоняется на грудь, и руки опускаются; и тягостно оттого, что чувствуешь страшную правду, и досадно, что чужой дотронулся до больного места, и миришься с ним за многое и более всего—за любовь к народу.[11]

Этот отзыв Герцена резко противоречит традиционному представлению о книге Кюстина как «руссофобской».

Косвенным ответом Кюстину, книга которого в короткий срок выдержала несколько изданий, была сразу же переведена на английский и на немецкий и продолжала привлекать большое внимание вне России, была и знаменитая статья А. С. Хомякова «Мнение иностранцев о России», напечатанная в «Москвитянине» (1845 г., № 4). Эту статью перевел на французский язык не кто иной как Чаадаев, пославший ее своему приятелю, французскому публицисту, гр. Адольфу де Сиркуру.[12] В письме ему Чаадаев писал:

Статья толкует о мнении иностранцев о России. Вам известно, что я не разделяю мнения автора. Вы увидите, однако, что я постарался со всею возможной тщательностью передать его мысль. Пожалуй, мне доставило бы больше удовлетворения опровергнуть ее, но я подумал, что лучший способ дать публике оценить литературные продукты нашей почвы это—пустить их в оборот в европейском мире. Как мы ни склонны уже сейчас полагаться на наше собственное суждение, старая привычка апеллировать к суду вашей публики все еще преобладает у нас. Вы, который так хорошо посвящены в нашу внутреннюю жизнь и знаете наши семейные секреты, вы вполне поймете мою мысль. На мой взгляд, прогресс еще невозможен у нас без апелляции к трибуналу Европы...[13]

В русской литературе о Чаадаеве использование Кюстином его мыслей прошло почти незамеченным. Первый, кто более или менее обстоятельно обследовал, чем Кюстин был обязан Чаадаеву, был аббат Кенэ, автор солидной французской монографии о Чаадаеве (см. Библиографию в конце книги). Вопрос о личной встрече между Чаадаевым и Кюстином, как указывалось выше, остается пока открытым. В известной нам переписке Чаадаева, собранной и изданной М. О. Гершензоном, имеется одно упоминание о Кюстине в записке без даты, адресованной его кузине, кн. Н. Д. Шаховской, где он писал:

> Вот, дорогая Натали, письмецо для Лизы. Это, чтобы сообщить ей о Кюстине. То немногое, что я сказал ей, не помешает, конечно, письму быть доставленным по адресу. Может быть, она угадает мою мысль и найдет способ сказать или передать этому человеку то, что ему надлежит знать.[14]

Смысл этой записки не вполне ясен, но очевидно Чаадаев хотел передать что-то Кюстину через свою другую кузину—Лизу (княжну Е. Д. Щербатову). Записка, очевидно, относится ко времени пребывания Кюстина в Москве. Сама по себе записка как будто говорит о том, что до этого встречи у Чаадаева с Кюстином не было, хотя не исключена возможность, что он хотел что-то дополнительно передать Кюстину и не расчитывал на новую личную встречу. С другой стороны записка свидетельствует о несомненном интересе Чаадаева к Кюстину и о желании поделиться с ним какими-то мыслями.

Мало внимания в связи с Кюстином привлек к себе в России и Козловский, который, как мы видели, «зарядил» Кюстина некоторыми идеями еще на пути в Россию. Доров в своей биографии полностью привел заявления Козловского Кюстину, но в биографическом очерке Козловского в «Русском Биографическом Словаре», хотя он и основан в значительной мере на книжке Дорова, отмечается лишь, что Козловский предоставил Кюстину свой перевод исторической статьи В. А. Поленова «Об от-

правлении Брауншвейгской фамилии из Холмогор в Датские владения», которую Кюстин напечатал в виде приложения в последнем томе своей книги. Вяземский в своих двух статьях о Козловском вообще не упоминает о Кюстине—то ли по цензурным соображениям, то ли в интересах семьи Козловского (дочь Козловского получала от Николая I пенсию).

В 1886 г. известный историк, биограф Александра I и Николая I, Н. К. Шильдер напечатал в «Русской Старине» в связи с выдержками из дневника барона Гагерна заметку, в которой писал:

> Рядом с повествованиями, искажающими смысл многих событий, у Гагерна и Кюстина встречаются метко подмеченные явления тогдашней жизни и удачные характеристики главных исторических деятелей той эпохи; нередко оба путешественника воспроизводят целые разговоры, служащие прекрасною характеристикою описываемого времени и русского общества. В настоящее время, когда прошлая жизнь России не скрыта более от внимания исследователей нашей старины, все это не должно долее оставаться чуждым исторической любознательности современного поколения.[15]

Этот примечательный своим историческим беспристрастием отзыв, знаменовавший собой снятие табу с книги Кюстина, находится в резком противоречии с реакцией, которую книга Кюстина подчас и теперь вызывает у русских. Между тем, Шильдера едва ли кто может упрекнуть в отсутствии патриотизма и лояльности. Пять лет спустя тот же Шильдер напечатал в «Русской Старине» длинные отрывки из самой книги Кюстина в переводе К. Плавинского, снабдив их небольшим предисловием и примечаниями и воспроизведя цитированную выше оценку книги.[16] Выдержки из книги включали часть рассуждений Козловского, по поводу которых Шильдер писал: «На пароходе Кюстин познакомился с неким русским князем К^{xxx}. Его поразила легкость, с которою последний завязал с ним знакомство». Если Шильдер и знал, кто был «некий русский князь К.», он не счел нужным расшифровать аноним.

В 1906 г. в журнале «Былое» появилась довольно поверхностная, написанная в банально-радикальском духе статья нынешнего советского академика Е. В. Тарле под названием «Самодержавие Николая I и французское общественное мнение». Здесь упоминается «старый русский князь К., дипломат в отставке», и вкратце приводятся взгляды, высказанные им Кюстину, без всякого сопоставления их с чаадаевскими, хотя на основании приведенных Тарле цитат такое сопоставление само собой напрашивалось. Никакой необходимости скрывать фамилию Козловского у Тарле не было, и приходится предположить, что он просто ничего о нем не знал.[17]

Отдельным изданием книга Кюстина вышла по-русски впервые в 1910 г. (см. Библиографию). В 1930 г. появилось новое, советское издание. К сожалению ни того ни другого издания мне не удалось достать в американских библиотеках, и я не знаю, содержат ли они какой-нибудь материал о Козловском и связывают ли Кюстина с Чаадаевым.

Козловского уже не было в живых, когда вышла книга Кюстина; иначе, по всей вероятности, приписанные ему мнения и рассказы (вернее исторические анекдоты, в которых, вероятно, Кюстин многое присочинил от себя) встретили бы бóльший резонанс в России. Не в интересах русского правительства и тех элементов русского общества, у которых книга вызвала возмущение, было подчеркивать, что в основе многих ее суждений лежали мнения не «невежественного» иностранного «туриста» (по существу, впрочем, Кюстин не был ни невеждой ни просто туристом), а умного и широко образованного русского человека, да еще к тому же чистейшей воды Рюриковича. Этим, вероятно, объясняется затушевывание роли, которую уделяет Козловскому Кюстин. Но, конечно, в России должно было быть хорошо известно, кто скрывался под обозначением «князь К.»: великая княгиня Елена Павловна прямо говорила Фарнгагену в 1843 г. в Киссингене, что после появления книги Кюстина о Козловском опять стали отзываться недоброжелатель-

но на петербургских верхах.

В ряде иностранных отзывов о книге Кюстина, напротив, были особо выделены и подчеркнуты заявления Козловского. Особенно интересен с этой точки зрения отзыв графа д'Оррера в известном французском католическом журнале Le Correspondant. Д'Оррер писал как человек, сам недурно знавший Россию.[18]

К книге Кюстина д'Оррер подошел критически. Он упрекал его прежде всего за поспешные обобщения о русском народе и писал:

> Мы не можем скрыть некоторого удивления, которое вызывает у нас смелость автора, берущегося начертать — прекрасным, правда, слогом — характеристику русского народа ... О народе можно судить верно и компетентно, только поняв его нравы и обычаи, из которых вытекает познание его характера; но для такого понимания трех или четырех месяцев недостаточно.

Рьяный католик, д'Оррер приветствовал однако общую католическую тенденцию книги и с особым удовлетворением и одобрением останавливался на рассуждениях Козловского, который, говорил он, начертал Кюстину «то, что можно было бы назвать исторической, политической и нравственной картой Российской Империи». Приведя пространную цитату из рассуждений Козловского, д'Оррер писал:

> Трудно было бы лучше охарактеризовать, исходя из его истории, нравственную природу русского народа (индивидуальные исключения, конечно, подразумеваются в столь нелестной характеристике народа, к которому принадлежит сам автор).

Приведя затем еще цитату о Польше, д'Оррер, на основании собственного знания России и личного опыта, подтверждал основные выводы Козловского. Надо думать, что д'Оррер, если и не знал лично Козловского, то догадывался, о ком идет речь. Он характеризовал «князя К.» как «бывшего государственного деятеля, связанного с предыдущим царствованием и сочетающего со специальной исторической эрудицией о России ум, умудренный

опытом и изучениями, и необыкновенную искренность».

Другой иностранец, Шницлер[19] приводя в своей «Интимной истории русского двора и правительства при императорах Александре и Николае» оставленную Козловским характеристику Николая I, упоминает о высказываниях Козловского Кюстину и говорит, что «его мысли и мнения составляют, пожалуй, самую замечательную часть всего труда». Он сообщает при этом и некоторые биографические сведения о Козловском—возможно, что, будучи учителем немецкого языка в семье герцога Орлеанского, он знал его лично.

Из отрицательных иностранных отзывов о книге Кюстина примечателен отзыв Бальзака. В «Письме о Киеве» (1847), предназначавшемся для Journal des Débats и не напечатанном при жизни Бальзака, знаменитый романист писал по поводу различных мнений иностранцев о России, что в сущности ни о ком из них нельзя сказать, что они «побывали» в России. Французские коммерсанты, осев в России, становятся русскими и никогда не скажут ничего, что было бы невыгодно для русского царя или русского народа. Они поэтому не в счет. Что же касается до «коммивояжеров идей» и любопытных, то для них Петербург и Москва—это вся Россия. Повидав две столицы, соединенные великолепной дорогой в 600 верст, они воображают, что побывали в России. Это то же, что увидать Китай, побывав в Кантоне. «Таково—продолжает Бальзак—мое мнение о книге г-на де Кюстина. Если из нее изъять мысли князя Козловского, имя которого можно теперь назвать, так как он умер; если исключить два-три романа, вставленные туда императором, то останутся лишь эпиграммы о вещах, которые по необходимости вытекают из климата, совершенно ложные взгляды на политику, описания русского великолепия да принаряженные общие места. Г-жа де Сталь на нескольких страницах «Десяти лет изгнания» лучше изобразила Россию, чем это сделал г-н де Кюстин».

Заметим, что Бальзака с Кюстином связывали наи-

лучшие личные отношения и что он посвятил ему в 1846 г. одну из своих повестей (L'Auberge rouge).

В том же «Письме о Киеве» Бальзак опровергал упорный слух о том, что в его первое путешествие в Россию (в 1843 г., после выхода книги Кюстина) император Николай предлагал ему «порядочное число душ» за опровержение книги Кюстина. Ошибку Кюстина и других иностранных путешественников, писавших о России, Бальзак усматривал в том, что они хотели «судить о России конституционными глазами, видеть ее через английские или парижские очки». Свое преимущество перед ними он видел в том, что он—сторонник абсолютной власти. Писатели вроде Кюстина не замечали, по его мнению, русского характера, «в основе своей азиатского». Характернейшей чертой русских, отличающей их, например, от поляков, представлялось Бальзаку их «слепое послушание», их дисциплинированность. «Дисциплина на миг отдала Европу во власть Наполеону; и если впоследствии, в непредвидимые сейчас сроки, Россия наводнит мир, она будет всем обязана своему духу повиновения», пророчил Бальзак. Как видим, по существу мнение Бальзака не очень разнилось от кюстиновского. При этом сам Бальзак приложил куда меньше стараний узнать Россию и в суждениях о ней проявил ту самую поверхностность, в которой укорял других путешественников.

В 1860 г. в том же самом Correspondant, где появился отзыв д'Оррера о Кюстине, была напечатана статья иезуита о. Ивана Гагарина о католических тенденциях в России.[20] Здесь имя Козловского было названо черным по белому, и пространно цитировались его заявления Кюстину. Статья была вызвана письмом гр. Д. А. Толстого по поводу написанной графом Фаллу биографии С. П. Свечиной.

В начале своей статьи Гагарин привел знаменитое «Философическое письмо» Чаадаева, а затем, говоря о русских католиках вообще, писал:

Среди людей, которых можно рассматривать, как под-

линных современников г-жи Свечиной, я с первого взгляда вижу троих, которые разделяли ее убеждения: Лунина,[21] Козловского, Чаадаева. Никто не скажет о них, что то были мелкие умы; сегодняшняя Россия была бы счастлива иметь у себя несколько человек такого калибра. Между тем все трое, каждый в разной мере, усвоили католические идеи; все трое имели твердые католические убеждения.

Чаадаев, я знаю, никогда не принадлежал к католической церкви, он умер в лоне русской церкви и в последние годы жизни приобщился к таинствам этой церкви. Но мы только что его выслушали[22]—может ли быть сомнение в направлении его идей?

Козловский был католиком. Он порвал с русской церковью, чтобы войти в лоно римской церкви. Его поведение не всегда соответствовало его вере: человек светский, человек удовольствий, он не принуждал себя выполнять обязанности христианской веры, его никак нельзя обвинить в фанатизме. Но у него были твердо устоявшиеся убеждения, и тот, кто хотя бы недолго говорил с ним, не мог не запомнить направление и закал его идей. Что до тех, кто сам не мог оценить чар его беседы, сверкавшей задором, остроумием, веселостью и здравым смыслом, то они могут составить себе представление о нем по опубликованному в Германии томику, где собрано более или менее все, что можно было собрать об этой замечательной личности.[23]

Переходя к беседам Козловского с Кюстином и, приведя длинную цитату, Гагарин замечает:

Нельзя не усмотреть в этих отрывках довольно ра зительного сходства и некоторой родственной близости с идеями Чаадаева. И тот и другой были поражены огромными последствиями, которые имело для России отсутствие католицизма, и оба его оплакивали.

Возвращаясь затем к рассуждениям Толстого по поводу биографии Свечиной, Гагарин продолжал:

Надо признать, что бывают климаты, в которых некоторые растения не могут дать ни цветов ни плодов; то же относится и к социальной среде . . . Лунин умер в Сибири. Козловский большую часть жизни прожил вне родины. Чаадаев не был выслан и прожил почти всю жизнь в Москве, но верховная власть объявила его сумасшедшим. Его пример показывает нам,

что климат России не подходит для умов, которые притязают мыслить по-своему...

...Останавливая взгляд на Лунине, на Козловском, на Чаадаеве, на г-же Свечиной можно представить себе, чем была бы Россия, если бы она была свободна говорить, мыслить, веровать. Все, что есть горького и чрезмерного в высказываниях Козловского и Чаадаева, сделалось бы беспредметным, и русским католикам было бы легко одновременно служить с любовью родине, которой они преданы, и Церкви, которой принадлежит их вера.

Гагарина можно, конечно, заподозреть в католической предвзятости, но всетаки он был первый, кто заметил то общее, что было в идеях Чаадаева и Козловского, и кроме того правильно подчеркнул, что их объединяло не только отношение к католичеству, но и пафос свободы.

Леонс Пэнго в своей уже упоминавшейся статье о Козловском, лишь вскользь коснулся бесед Козловского с Кюстином и обошел молчанием близость Козловского и Чаадаева, хотя статья Гагарина была ему знакома, и он даже нашел нужным внести оговорку в слова Гагарина о «твердых католических убеждениях» Козловского, полагая, вслед за Доровом, что Козловский был неважным католиком. В русской же литературе страницы, посвященные Гагариным Козловскому, остались, насколько мне известно, незамеченными.[24] Не обратил на них особенного внимания и аббат Кенэ, который, дважды упомянув Козловского в связи с Чаадаевым, наперекор своему обычаю даже не сообщил никаких сведений о нем и явно его фигурой не заинтересовался. Повидимому, он не склонен был придавать большого значения ни влиянию Козловского на Кюстина, ни самостоятельности идей Козловского, близости которого к Чаадаеву не мог, впрочем, не видеть. Совсем не упоминается Козловский в недавней немецкой книге о России и Европе А. фон Шельтинга, считающего себя последователем Чаадаева, хотя в этой книге (написанной с католической точки зрения) есть отдельная главка под наз-

ванием «Нападки Кюстина на Россию, русские отклики и Чаадаев».[25] Возможно, что все, что Козловский говорил Кюстину, фон Шельтинг принимает за высказывания самого Кюстина, приписывая их влиянию на него Чаадаева. Он, кстати, не сомневается, что московским собеседником Кюстина в Английском Клубе был сам Чаадаев.

По условиям моей работы я был лишен возможности обследовать, за небольшими исключениями, современную Кюстину и Козловскому, а также мемуарную польскую литературу, которая могла бы представить с этой точки зрения интерес. Из новейших польских источников на Козловского в связи с Кюстином обратил внимание Ян Кухаржевский в своем труде «Od białego caratu do czerwonego». К сожалению, мне не пришлось видеть полного семитомного польского издания (Варшава, 1923-1935). В сокращенном американском издании имеется лишь краткое упоминание о высказываниях Козловского Кюстину. Кухаржевский называет Козловского (имя его он расшифровывает) «умным человеком, пристрастным к радикальной фразеологии» и говорит о его «остроумных и красочных тирадах». Сопоставления с идеями Чаадаева здесь нет.

В самое последнее время Кюстин вошел в моду при истолковании «русской загадки». Его «Письма из России» были в сокращенном виде переизданы во Франции в 1946 г. О их «своевременности» писал знаменитый французский писатель Франсуа де Мориак. Американский журналист Льюис Галантьер посвятил им в одном журнале специальную статью. На Кюстина все время ссылается в своей книге о пребывании в Москве б. американский посол в Москве, генерал Биделл Смит. Более серьезную попытку толкования всей русской истории в духе Кюстина представляет собой недавно вышедшая талантливая, но вредная книга известного швейцарского историка Гонзага де Рейнольда.

Здесь не место подвергать детальной критике эти попытки при помощи Кюстина изобразить тоталитарный

режим Сталина, как естественный итог всего исторического развития России. Следует лишь сказать, что, хотя в книге Кюстина было много горькой правды о николаевской России—и это, как мы видели, признавал не только Герцен, но и Жуковский, и Тютчев, и вел. кн. Елена Павловна, и ген. Шильдер—ссылаться на него сейчас в порядке объяснения советского коммунизма значит искажать историческую перспективу и игнорировать целый период русской истории между Николаем I и Николаем II. «Кюстинствующим» иностранцам, которые хотят отбросить в Азию не только Россию Ивана Грозного, Петра Великого и Николая I, но и Россию конца XIX и начала XX века, и которым кажутся столь соблазнительными параллели между Иваном Грозным и Сталиным, Петром Великим и Сталиным, и Николаем I и Сталиным, следует рекомендовать в качестве обязательного чтения и противоядия недавно вышедшую по французски книжку В. В. Вейдле, убедительно вскрывающую нерасторжимую связь России с Европой и ее цивилизацией.[26]

В заключение надлежит еще раз подчеркнуть, что —как это ни парадоксально—европеец Кюстин, вслед за другим и гораздо более крупным и значительным европейцем, Жозефом де Мэстром, в своей концепции России и русской истории был во многом гораздо ближе к славянофилам, чем к западникам. В этом их глубокое отличие от Козловского и Чаадаева.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. П. В. Анненков. Литературные воспоминания. Предисловие Н. Пиксанова. Вступительная статья, редакция и примечания Б. М. Эйхенбаума. Ленинград, 1928, стр. 392.

2. Яков Николаевич Толстой (1791-1867). О нем см. статью Б. Л. Модзалевского в **Русской Старине,** 1899, xcix, 587-614 и c, 175-199. Заглавия брошюр Толстого, как и другие упоминаемые здесь иностранные книги и статьи, где затрагивается путешествие Кюстина в Россию см. в дополнении к Библиографии в конце книги. Первая из брошюр Толстого вышла под псевдонимом И. Яковлева, вторая—анонимно, в форме письма известному французскому либеральному публицисту Сэн-Мар Жирардэну (1801-1873).

3. Ксаверий Ксаверьевич Лабенский (1800-1855), поляк по крови, перешедший в православие и ставший русским националистом, чиновник министерства иностранных дел, причисленный к русскому посольству в Париже. Его ответ Кюстину содержал реабилитацию и восхваление Петра Великого. Лабенский вскользь упоминает Козловского, не называя его («некий толстый русский князь и притом большой барин»), и характеризует его как кюстиновского «Нестора». Высказанных Козловским взглядов он по существу не разбирает. Брошюра Лабенского привлекла внимание Чаадаева, который писал А. И. Тургеневу: «Почему Вы не говорите ничего о брошюре Лабенского? Я только что ее прочел. Хотя она написана слогом эмигранта, или вернее иностранца, в ней есть по-моему одно настоящее достоинство, а именно то, что она превосходно доказывает необходимость реформы Петра Великого в тот момент, когда он появился».

Одновременно в Париже появилась в ответ Кюстину еще одна защита Петра Великого, принадлежавшая перу эмигранта Ивана Головина (1816-?).

4. Николай Иванович Греч (1787-1867), известный писатель, историк литературы и журналист, сподвижник Булгарина.

5. Ср. уже упоминавшуюся статью Пэнго, стр. 82. Подробно историю ответа Греча Кюстину см. в книге М. К. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826-1855 гг. СПб., 1908, стр. 141-152. Приводимые Лемке документы показывают, что инициатива ответа исходила от самого Греча, и рисуют последнего в весьма неблаговидном свете. Козловский в переписке Греча с Л. В. Дубельтом, помощником гр. А. Х. Бенкендорфа по III Отделению, не упоминается.

6. Книжка Дюэза упоминается в статье Е. В. Тарле (см. ниже и в Библиографии). Кроме того, что он был парижским адвокатом и автором двух других печатных работ, не имеющих отношения к России, никаких сведений о нем найти не удалось.

7. Письмо это вышло затем отдельной брошюрой. По русски оно было напечатано впервые в переводе Ф. И. Тимирязева, вместе с французским оригиналом, в **Русском Архиве** (1873, iii, 193-242). В сочинениях Тютчева печатается под заглавием «Россия и Германия».

8. Эту фразу Бенкендорфа Фарнгаген приводит по французски.

9. **Русская Старина,** xxiii (1878), 143, 146. Отрывки из дневника Фарнгагена были напечатаны еще раньше в **Русском Архиве** (1875) неким А. Чуликовым, который тоже вы-

сказал предположение, что камергер Т.—это Тютчев.

10. **Русский Архив,** 1895, iii, стр. 297 отдельной пагинации. Ср. также отзыв Жуковского о Кюстине в письме А. Я. Булгакову (Сочинения, изд. 7-е, vi, 556).

11. А. И. Герцен. Сочинения. Женева, 1875. Т. i, стр. 142-144. Герцен отозвался очень резко об ответе Греча Кюстину, находя в нем страницы, «поражающие цинизмом раба, потерявшего всякое уважение к человеческому достоинству» (там же, стр. 180-181, «Дневник 1844 г.»)

12. Comte Adolphe de Circourt (1801-1879), французский публицист, приятель Чаадаева, автор статей о России и русской литературе. Женат был на русской, Анастасии Семеновне Хлюстиной (1808-1863). В Париже у них с 1837 г. был известный политический салон.

13. Сочинения и письма П. Я. Чаадаева, i, 269.

14. Там же, i, 239.

15. «Немец и француз в записках своих о России в 1839 г.», **Русская Старина,** 1886, 21-22.

16. «Россия и русский двор в 1839 г. Записки французского путешественника Кюстина», сообщ. Н. К. Шильдер. **Русская Старина,** xix, 145-184 и 407-420. Дальнейшие выдержки были напечатаны в 1893 г.

17. Статья Тарле воспроизведена была в его книге «Запад и Россия». Примечательно, что эту книгу, вышедшую в самом начале большевицкой революции, нынешний советский академик и восхвалитель Сталина посвятил «мученической памяти Ф. Ф. Кокошкина и А. И. Шингарева».

18. Joseph-Marie d'Horrer (1775-1840) был родом из старой эльзасской дворянской семьи, вместе с родителями эмигрировал во время революции, служил простым солдатом в армии Кондэ, потом перешел на русскую службу, дослужился до чина полковника, был адъютантом у Кутузова. В 1814 г., после реставрации Бурбонов, покинул русскую службу и был назначен переводчиком при французском посольстве в Петербурге, а позднее секретарем французской миссии в Швейцарии, где оказал французскому правительству большие услуги. В 1828 г. Карл X решил использовать его знание России и назначить консулом в Молдавию со специальным поручением следить за операциями русской армии. Но отъезд д'Оррера к месту новой службы задержался, а тем временем произошел июльский переворот. Как легитимист, д'Оррер не захотел служить новому режиму. Обремененный семьей, он пробивался журнализмом, сотрудничая в католических изданиях. Умер он от холеры в

1849 г. За год до выхода книги Кюстина он выпустил большой том в 555 страниц о преследованиях католической церкви в России и в Царстве Польском.

19. Jean-Henri Schnitzler (1802-1871).

20. Кн. Иван Сергеевич Гагарин (1814-1882) был назначен в 1833 г. секретарем русской миссии в Мюнхене, где сошелся с Тютчевым. В 1836 г. Гагарин был переведен в министерство иностранных дел, а затем в Париж, где в 1842 г. перешел в католичество и сделался иезуитом—не без влияния П. Я. Чаадаева и во всяком случае С. П. Свечиной, которая приходилась сестрой его тетке, Е. П. Гагариной. Два года спустя после этой статьи Гагарин выпустил по французски «Избранные сочинения» Чаадаева. Гагарин был лично знаком с Козловским.

21. Михаил Сергеевич Лунин (1787-1845), декабрист, весьма замечательный человек. Католиком стал в Париже, куда попал в 1816 г. По делу декабристов был приговорен к 20-летней каторге. Умер на поселении в Сибири. О нем есть несколько работ, и часть его писаний была издана в Советском Союзе. См. недавнюю статью о нем С. П. Мельгунова «Рыцарь свободы» в **Новом Журнале** (Нью Иорк), xiii и xiv (1946).

22. Гагарин имеет здесь в виду напечатанное им в этой же статье первое «Философическое письмо».

23. Здесь ссылка на книгу Дорова.

24. Должен оговориться, что я не имел возможности проверить, имеется ли что-нибудь об этом в книге М. О. Гершензона о Чаадаеве.

25. Книга Шельтинга встретила с русской стороны довольно суровый прием. В Slavonic and East European Review (May, 1949) Б. И. Элькин в длинной рецензии подверг критике ряд односторонних и неверных суждений автора. В **Возрождении** (тетр. V, Париж, сентябрь-октябрь 1949, стр. 170-172) И. А. Ильин охарактеризовал книгу как злостный анти-русский католический пасквиль. Это суждение сурово и несправедливо: в книге есть несомненные достоинства, и автор знает свой предмет. Но чувствуется в ней и анти-русская тенденция.

26. Wladimir Weidlé. La Russie absente et présente. Paris, 1949.

ПРИЛОЖЕНИЕ XIV

Иконография Козловского

1. Портреты.

В **Русских исторических портретах** вел. кн. Николая Михайловича портрета Козловского нет. В **Словаре русских гравированных портретов** Д. А. Ровинского (1886-89) зарегистрированы один портрет и одна карикатура на Козловского. Нам известны три портрета Козловского. Из них два воспроизведены в настоящей работе. Вот имеющиеся о них сведения:

1. Фронтиспис. Портрет этот был в свое время воспроизведен в «Альбоме Пушкинской Выставки в Академии Наук» (Май 1899 г., № 485). В описании говорится, что это литография Charles Pohl'я, сделанная в Варшаве в 1838 г. и что экземпляр на выставке принадлежал в свое время гр. П. А. Валуеву и находился в собрании Н. П. и А. П. Барсуковых. Очевидно об этом именно портрете Н. П. Барсуков писал в примечаниях к **Письмам И. И. Дмитриева к князю П. А. Вяземскому:** «В моей библиотеке имеется прекрасный портрет князя П. Б. Козловского, доставшийся мне от П. А. Валуева; под портретом находится следующая надпись: Felix qui potuit rerum cognoscere causas! Kosloffsky». Этот же портрет, вероятно, имел в виду Вяземский, когда писал А. И. Тургеневу из Петербурга 26-го февраля 1838 г.: «Ожидаю Козловского. Он был [бы?] уже здесь, но, сказывают, нога опять разболелась. Передовым своим прислал он свой портрет, очень похожий, хотя несколько и изукрашенный».

Гр. П. А. Валуев (1814-1890), от которого портрет достался Барсукову, был женат на дочери Вяземского, княжне Марии Петровне (1813-1849). Вероятно, к Валуеву перешел тот экземпляр, который Козловский прислал Вяземскому.

Надпись под портретом—цитата из «Георгик» Виргилия, одного из любимых поэтов Козловского: «Счастлив,

кто сумел познать причины вещей!»

О Поле, художнике, литографировавшем этот портрет, мне не удалось найти никаких сведений. У Ровинского портрет этот не упоминается.

За предоставление мне фотокопии этого портрета и описания его в упомянутом «Альбоме» приношу благодарность Г. А. Алексееву (Нью Иорк).

2. В книге Дорова воспроизведен анонимный портрет, по всей вероятности относящийся ко времени заграничного пребывания Козловского. Доров говорит, что портрет этот был «исполнен по миниатюре, которой не хватало живости и дружелюбности, столь отличавших покойного––той дружелюбности, которая исходила из самой глубины души». Козловский, по словам Дорова, из нетерпения отказал художнику в последнем необходимом сеансе. Портрет предназначался для одного очень близкого друга (не Фарнгагена ли?). Перед разлукой Козловский послал ему его, приписав стих Горация: et amara lento temperat risu (и мягкой улыбкой смягчает горечь), заменив горациевское temperet на изъявительное наклонение. Повидимому, именно этот портрет имеется в виду у Ровинского.

3. Срт. 26. Акварельный портрет работы баронессы Цезарины де Барант. Этот прелестный портрет, кажется мне наиболее удачным из трех. Портрет этот обнаружен лишь недавно и не упоминается ни в одном из известных мне источников о Козловском. Впервые был воспроизведен в моем очерке о Козловском в сборнике «День Русского Ребенка».

Césarine de Barante, ур. d'Houdetot (1794-1877)— жена французского посла в Петербурге, барона де Баранта, историка и литератора, члена французской Академии, в молодости бывшего близким к г-же де Сталь. Г-жа Барант была, повидимому, незаурядная художница-любительница, хотя в небольшой биографии её в новейшем французском биографическом словаре этот факт не

упоминается. Автор биографии (Прево) зато говорит о ее святости и ее благотворительных делах и называет ее «святой в свете в эпоху, когда эти два рода жизни казались несовместимыми». Г-же де Барант принадлежал ряд религиозно-нравственных сочинений. В Петербурге она усиленно занималась благотворительными делами.

Из надписи на обороте портрета видно, что он написан в Петербурге **в декабре 1838 г.,** т. е. почти на год позже портрета Поля. Козловский еще в 1836 г. стал бывать у Барантов, но о самом Баранте отзывался не слишком любезно, как явствует чз следующей выдержки из письма Вяземского А. И. Тургеневу от 24-го января 1836г.:

> Козловский сердится на Баранта, что не умеет жить по петербургски. В самом деле, все говорят, что обеды его плохие, мещанские, доктринерские, а вина в рот взять нельзя. К тому же он не говорлив, низкопоклонен, человек кабинетный, то-есть учено-кабинетный, да и то знают это здесь по книгам, а изустно он себя никому не показывает или не высказывает.

В воспоминаниях самого Баранта Козловский не упоминается.

II. Карикатуры.

1. Срт. 10. «Долгота и широта Санкт-Петербурга (Longitude & Latitude of St. Petersburgh).» Историю этой карикатуры рассказывает в своей книге Доров:

> Необыкновенная тучность Козловского, его своеобразная речь и повадки, в соединении с ослепительным, всегда метким остроумием, привлекали всеобщее внимание, и в такой стране как Англия не было недостатка в карикатурах на него. Сам он находил в этом большое удовольствие и от души смеялся. Так, например, очень худая, но элегантная русская княгиня Ливен отказала раз в танце плохо вальсировавшему англичанину и заметила при этом: Je ne danse qu'avec mes compatriotes. Тотчас же появилась карикатура: толстый князь Козловский изображен был танцующим с на редкость худой княгиней Ливен, а внизу можно было прочесть: Долгота и широта Санкт-Петербурга.

Доров относит эту и другие английские карикатуры на Козловского ко времени странствий его по Европе, т. е. после 1821 г. На самом деле карикатура эта появилась в мае 1813 г., как явствует из надписи под ней. Автором карикатуры был знаменитый английский рисовальщик Крукшанк (George Cruikshank, 1792-1878).

В чрезвычайно ценном описательном каталоге политических, общественных и личных карикатур в собрании гравюр и рисунков в Британском Музее есть описание этой карикатуры.[1] Автору, г-же Джорж, осталось, однако, неизвестным, кого изображает карикатура. Козловского она приняла за герцога Кларенса, брата Георга IV, будущего короля Вильгельма IV, и писала:

> Герцог Кларенс танцует с высокой худой женщиной... держа ее за обе руки... Его нельзя узнать, это — просто одетый, низкорослый, тучный Джон Булль...

Неудивительно, что г-жа Джордж не нашла у художника сходства с предполагаемой ею моделью: «низкорослый, тучный Джон Булль»—очень схожий портрет Козловского. В «Ливенше», как ее называли, тоже хорошо уловлено сходство.

О княгине Ливен и ее роли в вечерах знаменитого клуба Альмак, где она была одной из дам-патронесс, автор цитированной уже биографии ее пишет:

> ...Прошло немного времени, и она оживила эти вечера смелым нововведением. Она объявила своим коллегам, что есть новый танец, который называется вальс, или valse à la française, и что она видела его на континенте, где он завоевывает себе популярность. Она показала им как его танцуют, проделав па в клубной комнате. Хотя танцующих,которые привыкли к более чинным движениям, сначала немного смущало это головокружительное вращение, и хотя встревоженные мамаши, находившие танец безнравственным, оказали ему значительное сопротивление, вальс постепенно привился и вскоре сделался повальным увлечением.[2]

На карикатуре Крукшанка изображен, однако, не

клуб Альмак и не «русский дворец», как думала г-жа Джордж, а Девоншир Хауз. Это явствует из надписи, сделанной лордом Малмсбюри[3] на принадлежавшем ему экземпляре карикатуры; за сообщение этой надписи, гласящей «Русский по имени князь Козловский или l'aimable roué (любезный повеса), как он сам себя называл, и графиня Ливен, супруга русского посла, вальсируют в Девоншир Хауз. Май 1813 г.», я обязан г-же Джордж.

Об этой забавной карикатуре упоминает и Вяземский в статье о Козловском 1868 г. и тоже относит ее ошибочно к более позднему времени. Но мы имеем еще одно современное и вполне достоверное указание на нее. К. Я. Булгаков во французском письме брату из Вены во время Конгресса (от 3/15 апреля 1815 г.) писал:

> Киселеву прислали из Лондона несколько карикатур. Я ему сказал, что у Вас есть собрание карикатур, и он мне их дал, чтобы послать Вам от него. На двух из этих гравюр Вы узнаете Козловского. Под «долготой» изображена графиня Ливен. Козловский очень горд собой, уверяет, что это отличие; одно можно сказать положительно—это, что он привлек внимание публики и что в Лондоне сам король не защищен от подобного рода отличий...

О какой второй карикатуре говорит здесь Булгаков, сказать наверное нельзя; вероятно о той, которая воспроизведена на стр.   и о которой идет речь ниже, под № 2.

Карикатура Крукшанка имела большой успех в дипломатическом мире. Сардинский посланник в Лондоне, граф Фронт (Filippo S. Martino, conte di Front) послал ее своему правительству. Мэстр назвал ее «восхитительной». Меттерних писал графине Ливен из Вены в 1819 г., когда роман между ними был в полном разгаре: «Между прочим, по поводу вальса—ты знаешь, что я познакомился с тобой, лет семь или восемь тому назад, по карикатуре на тебя и на толстяка Козловского?» Карикатуру эту Меттерних должен был видеть за шесть лет до этого письма.

Настоящее их знакомство и первое сближение произошло осенью 1818 г. во время Ахенского Конгресса. С этого времени между ними установилась оживленная переписка. 18-го ноября в тот день, когда Ливены уехали из Ахена, Меттерних написал графине длинное письмо, помеченное «Полночь». В этом письме, между прочим, он подробно передает свой разговор с Козловским, который был одним из двадцати гостей у него на званом обеде. Разговор был о женщинах, причем Козловский говорил довольно цинично, распространяясь о своей любви к полным женщинам и о том, что он ценит в женщинах хороший аппетит и равнодушен к их уму. Меттерних принял все это за чистую монету и был шокирован. «Сколько Козловских в мире!» восклицал он. Зная нерасположение Козловского к Меттерниху, восходившее еще к Венскому Конгрессу, и принимая во внимание крайнюю худобу графини Ливен, можно предположить, что Козловский позволил себе поиздеваться над австрийским канцлером. Но возможно, что разговор этот запал в душу Меттерниха и отразился на его недоброжелательстве к Козловскому. Последний действительно выступает в нем в не очень привлекательном свете. Но, если не считать злоречивого автора анонимных мемуаров о Бальзаке, других подтверждений циничного отношения Козловского к женщинам у нас нет. Напротив, Вяземский, как мы видели, говорит о его старомодной рыцарственности. В воспоминаниях Козловского имеется характеристика жены наследного принца Мекленбургского, насквозь проникнутая романтическим преклонением. Можно допустить, что Козловский, считая самого Меттерниха циником, нарочно принял такой тон с ним.

2. Срт. 154. «L'Aimable Roué» («Любезный повеса»). Обнаружением этой забавной карикатуры я обязан г-же Д ж о р д ж, которая описала ее в своем каталоге карикатур, но до недавнего времени не знала, кого она изображает. Дата под карикатурой показывает, что она относится также ко времени первого пребывания Козловского в Англии. Автор ее неизвестен, но в письме ко мне г-жа Джордж высказывает предположение, что им мог быть

знаменитый карикатурист Гилрэй (James Gillray, 1757-1815), прославившийся своими карикатурами на Георга IV («фермер Джордж»). Козловский очевидно изображен на утренней прогулке в Хайд-парке. В русской литературе эта карикатура нигде прямо не упоминается, но именно ее мог иметь в виду К. Я. Булгаков.

3. Срт. 82. Этот шарж воспроизводится нами из книги Дорова, который сообщает о нем только, что он был гравирован в Берлине с английского подлинника и при всей карикатурности обнаруживает «поразительное сходство». Этот шарж воспроизведен также в **Литературном Наследстве** (т. 33-34, стр. 639) с пояснением: «Карикатура неизвестного художника. Литография 1846 г.» Год здесь очевидно дан по году выхода книги Дорова. Но вероятно именно об этом портрете А. И. Тургенев писал И. И. Дмитриеву **еще** в 1825 г. «Предо мной прелестная литография, с головы до ног, кн, Козловского, сделанная в Берлине». Эта же карикатура, вероятно, имеется в виду в Словаре Ровинского.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Mary Dorothy George. Catalogue of Political and Personal Satires Preserved in the Department of Prints and Drawings in the British Museum. Vol. ix: 1811-1819. London, 1949, p. 243, No. 12047. Cp. Albert M. Cohn. George Cruikshank, a Catalogue Raisonné, London, 1924.

2. H. Montgomery Hyde. Princess Lieven. London, 1948, pp. 74-75.

3. James Harris, 1st Earl of Malmesbury (1746-1820).

Был послом в России при Екатерине II. Оставил любопытные дневники и мемуары.

БИБЛИОГРАФИЯ

Даваемая здесь библиография литературы о Козловском не притязает на полноту. За небольшими исключениями, оговоренными в примечаниях, перечисленные источники сведений о Козловском, русские и иностранные, были непосредственно обозрены и использованы мной. По сравнению с литературой, указанной в статье о Козловском в **Русском Биографическом Словаре,** мой список представляет увеличение во много раз. Кроме книги Дорова, все иностранные источники впервые вводятся мной в оборот для русского читателя. Многое из них осталось неизвестным и Пэнго. Более тщательное обследование иностранной литературы, особенно мемуаров различных современников Козловского, не говоря о разных неизданных архивах, должно дать богатый дополнительный урожай.

Из известных мне источников мной не включены лишь некоторые журнальные статьи, в которых мимоходом встречаются малозначительные упоминания имени Козловского.

А. Сочинения Козловского

Чувствование Россиянина при чтении милостивых манифестов, изданных Императором Александром I. Москва в Унив. Типогр. у Хр. Клаудия 1801 Апреля во 2 день. 9 стр. (У С. А. Соболевского был экземпляр этой оды Козловского с собственноручной надписью А. Ф. Малиновскому и многочисленными поправками).

Его сиятельству князю Александру Борисовичу Куракину, на выздоровление благодетеля. С.-Петербург, 1802.

«Разбор парижского математического ежегодника», **Современник,** т. I, 1836.

«О надежде (т. е. о теории вероятностей или об удобосбытностях)», **Современник,** т. III, 1836.

«Теория паров», **Современник,** т. VI, 1837.

Отрывок из Воспоминаний (по французски; напечатан впервые в книге Дорова, см. ниже).

Lettre d'un Protestant d'Allemagne à Monseigneur l'évêque de Chester. Paris, 1825.

Lettres au duc de Broglie sur les prisonniers de Vincennes. Gand, 1830.

Б. Литература о Козловском

I. Специальные работы о Козловском

Dorow, Dr. Wilhelm. Fürst Kosloffsky, Kaiserlich russischer wirklicher Staatsrath, Kammerherr des Kaisers, ausserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister in Turin, Stuttgart und Karlsruhe. Mit zwei Portraits und einem Facsimile. Leipzig, 1846. 238 S S.

(В этой казенно озаглавленной книжке любовно собраны все доступные в то время материалы о К. Помимо составленного Доровым биографического очерка—стр. 1-23—тут воспроизведены оба французских памфлета К., отрывок из его «Воспоминаний», воспоминания де ла Гарда о К., разговоры с Кюстином из книги последнего, речь еп. Честерского в подлиннике и переводе, а также еще кой-какой материал, не имеющий прямого отношения к К.)



(Любезный Повеса)

Карикатура на Козловского неизвестного Английского художника

М., Н. Биографическая заметка о К. в Русском Биографическом Словаре. [Основано почти полностью на книге Дорова и воспоминаниях Вяземского. В конце дана библиография, преимущественно журнальных статей и заметок. Даже для того времени в ней есть пробелы; иностранные источники, кроме книги Дорова, отсутствуют, книга Кюстина не упомянута].

Вяземский, кн. П. А. «Князь Петр Борисович Козловский» (1840), в Полном собрании сочинений, т. II (1827 г.-1851 г.), СПб., 1879.

———«Князь Козловский» (1868), в Полном собрании сочинений, т. VII (1855 г.-1877 г.), СПб., 1882.

Pingaud, Léonce. "Un diplomate russe il y a cent ans en Italie: Le prince Kosloffsky." **Revue d'histoire diplomatique,** 1917.

Струве, Глеб. «Друг Пушкина—кн. П. Б. Козловский», **День Русского Ребенка,** вып. XVI-ый (Пушкинский). Сан Франциско, 1949.

———"Кто был пушкинский «полонофил»?", **Новое Русское Слово,** 18-xii-1949.

———«Русский дипломат и побег Люсьена Бонапарта», **Новое Русское Слово,** 27-i-1950.

———«Кн. П. Б. Козловский и его знакомство с Шатобрианом, г-жей де Сталь и Гейне», **Новое Русское Слово,** 30-IV-1950.

II. Работы, в которых упоминается Козловский

Альбом Пушкинской выставки в Академии Наук. СПб., май 1899г. [Здесь напечатан портрет Козловского. Указанием на это издание я обязан Г. А. Алексееву.]

Барсуков, Н. Жизнь и труды М. П. Погодина.
[Дается на основании «Источников словаря русских писателей» Венгерова].

Батюшков, К. Н. Сочинения. Изд. 5-ое. СПб., 1887.

Библиографические Записки. I, 1858.
[Дается на основании указателя к **Библиографическим Запискам,** напечатанного в **Русском Архиве** в 1864 г.].

Белозерская, Н. Княгиня Зинаида Александровна Волконская. **Исторический Вестник,** т. LXVII (1897).

[Булгаков, А. Я.] «Выдержки из записок А. Я. Булгакова», **Русский Архив,** 1867.

———«Из писем А. Я. Булгакова к его отцу», **Русский Архив,** 1898, iii.

———«Письма А. Я. Булгакова к брату его К. Я. Булгакову», **Русский Архив,** 1899, ii, 1900, ii, iii.

[Булгаков, К. Я.] «Из писем К. Я. Булгакова к брату его А. Я.», **Русский Архив,** 1902, ii; 1904, i.

[Бутенев, А. П.] Воспоминания А. П. Бутенева, **Русский Архив,** 1881, iii.

Венгеров, С. А. Источники словаря русских писателей. **Т.** iii: Карамышев-Ломоносов. Петроград, 1914.

——— Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. 2-ое изд. Т. i: Первоначальный список русских писателей и ученых и первые о них справки. Вып. iii: Емельнов-Куликов. Петроград, 1915.

[В и г е л ь, Ф. Ф.] Записки Вигеля. Москва, 1891. (Первоначально в **Русском Архиве** за 1863 г.).

В о е й к о в, А. Ф. «Парнасский Адрес-Календарь, или Роспись чиновных особ, служащих при дворе Феба и в нижних земских судах Геликона с краткими замечаниями об их жизни и заслугах. Собрано из достоверных источников, для употребления в благошляхетном Арзамасском обществе», **Русский Архив,** 1866, и **Русская Старина,** т. 9, 1874.

[В о р о н ц о в]. Архив князя Воронцова. Том 23: Письма Н. М. Лонгинова к гр. С. Р. Воронцову. Том 36: Письма кн. П. Б. Козловского к гр. М. С. Воронцову.

[В я з е м с к и й, кн. П. А.] Остафьевский архив князей Вяземских. Тт. iii и iy: Переписка князя П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым. 1824-1836. Изд. графа С. Д. Шереметева. Под ред. и с примечаниями В. И. С а и т о в а. СПб., 1899. Примечания к т. iii (отд. том).

——— «Из старой записной книжки», **Русский Архив,** 1874, стр. 1350.

Г е н н а д и, Г. Справочный словарь о русских писателях и ученых, умерших в XVIII и XIX столетиях и Список русских книг с 1725 по 1825 г. Берлин, 1880. (ii, 148).

Д., Н. «Несколько слов в память императора Николая 1-го», **Русская Старина,** т. 86, 1896. [Отрывок из воспоминаний К. о Николае I].

[Д м и т р и е в, И. И.] Письма И. И. Дмитриева к князю П. А. Вяземскому 1810-1836 годов (из Остафьевского архива). С предисловием и премечаниями Николая Б а р с у к о в а. СПб., 1898.

[Д о л г о р у к о в, кн. П. В.] Российская родословная книга, издаваемая князем Петром Долгоруковым. Часть первая. СПб., 1854.

Д у р ы л и н, С. Н. «Г-жа де Сталь и ее русские отношения», **Литературное Наследство,** т. 33-34, стр. 215-330.

[Ж у к о в с к и й, В. А.] Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. С примечаниями И. А. Б ы ч к о в а. Приложение к **Русскому Архиву** за 1895 г. (в том же году отдельное издание).

К ю с т и н, Астольф де. Николаевская эпоха. Воспоминания французского путешественника маркиза де Кюстин с приложением дневника А. О. Смирновой (1845 г.) Москва, 1910.

——— Николаевская Россия. Вступительная статья, редакция и примечания Сергея Г е с с е н а и Ан. П р е д т е ч е н с к о г о. Пер. с франц. Я. Гессена и Л. Домчера. Москва, 1930.

——— «Россия и русский двор в 1839 г. Записки французского путешественника Кюстина». Сообщ. Н. К. Ш и л ь д е р. **Русская Старина,** т. 69, 1891.

БИБЛИОГРАФИЯ

Литературное Наследство, тт. 29-30 и 33-34. См. Дурылин, Степанов и Шатобриан.

Лонгинов, Н. М. См. Воронцов.

Майков, П. «Андрей Андреевич Жерве. Биографический очерк», **Русская Старина,** т. 92, 1897.

Михайловский-Данилевский, А. И. «Представители России на Венском Конгрессе». Сообщ. Н. К. Шильдер. **Русская Старина,** т. 98, 1899.

[Мордвинов, гр. Н. С.] Архив гр. Н. С. Мордвинова. Пред. и прим. В. А. Биіьбасова. Т. IV, (письмо А. С. Шишкова Мордвинову).

Морошкин, свящ. Михаил. Иезуиты в России, с царствования Екатерины II и до нашего времени. 2 части. Санктпетербург. 1867 и 1870.

[Муханова, В. А.] «Из дневных записок В. А. Муханова. 1836-1855», **Русский Архив,** 1897, I.

[Мэстр, Жозеф де]. Письмо де Мэстра Козловскому, **Русский Архив,** 1866.

[Николай I]. «Император Николай Павлович в его письмах к князю Паскевичу», **Русский Архив,** 1897, I. (Перепечатано из приложения к т. V труда кн. А. П. Щербатова: Генерал-фельдмаршал князь Паскевич, его жизнь и деятельность).

[Одоевский, кн. В. Ф.] «Из переписки кн. В. Ф. Одоевского», **Русская Старина, т. CXVIII (1904). (упоминание в** письме А. А. Краевского о письме Козловского Одоевскому).

Орлов-Давыдов, гр. В. «Биографический очерк графа В. Г. Орлова». **Русский Архив,** 1908, iii.

[Павлищева, О. С.] «Письма О. С. Павлищевой к отцу». **Пушкин и его современники,** xii (1909).

———«Письма О. С. Павлищевой к мужу». **Пушкин и его современники,** xvii-xviii (1913), xxii-xxiv.

Поленов, Д. Вступительная заметка к перепечатке статьи В. А. Поленова «Отправление Брауншвейгской фамилии из Холмогорр в датские владения». **Русская Старина,** IX (1874).

П-ский. «К биографии кн. П. Б. Козловского». **Варшавские губернские ведомости,** 1878, № 15. (Дается по Венгерову.)

Пушкин, А. С. Полное собрание сочинений в десяти томах. Том третий: Стихотворения 1827-1836. Академия Наук СССР, Институт Литературы (Пушкинский Дом).

[Пушкин].Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово. 1827-1832. Труды Пушкинского Дома, вып. 48. Ленинград, 1927.

Пыпин, А. Н. «Русский путешественник в двадцатых годах». **Вестник Европы,** 1872, viii.

Ровинский, Д. А. Словарь русских гравированных портретов. С.-Петербург, 1886-89.

Родословная книга князей и дворян российских и выезжих ... которая известна под названием Бархатной книги. Москва, в Университетской типографии у Н. Новикова, 1787. Часть ii.

Русский Архив. «К истории двенадцатого года. I. Дипломатические депеши о ссылке Сперанского», 1882, ii.

Сборник Императорского Русского Исторического О-ва. Том 119 (1904).

Сопиков, В. Опыт российской библиографии. Редакция, примечания, дополнения и указатель В. Н. Рогожина. Часть IV, № 11524; часть V, № 12599. СПб., 1905 и 1906.

Степанов, М. «Жозеф де Местр в России». Статья М. Степанова. Публикация и комментарии М. Степанова и F. Vermale (Grenoble) **Литературное Наследство,** т. 29-30. Москва, 1939. Стр. 557-726.

Струве, Глеб. «Два православных англичанина в XVIII в.: 1. Джон Парадайз. 2. Лорд Фредерик Норт». **Новое Русское Слово,** 28-viii-1949.

———«Бальзак и Софья Козловская». **Русская Мысль** (Париж), 10-v-1950.

Тарле, Е. В. «Самодержавие Николая I и французское общественное мнение». **Былое,** № 9, сентябрь 1906 г.

———Запад и Россия. Статьи и документы из истории XVIII-XX вв. Петроград, 1918.

Тургенев, А. И. Письма к Н. И. Тургеневу. Лейпциг, 1872.

———Письма Александра Тургенева Булгаковым. Подготовка текста писем к печати, вступительная статья и комментарии А. А. Сабурова. Под ред. И. К. Луппола. Москва, 1939.

———Архив бр. Тургеневых. Вып. 2-ой. Письма и дневник Александра Ивановича Тургенева Геттингенского периода (1802-1804 гг.) и письма его к А. С. Кайсарову и братьям в Геттинген. С введением и примечаниями В. М. Истрина. СПб., 1911.

———Архив братьев Тургеневых. Вып. 6-й: Переписка Александра Ивановича Тургенева с кн. Петром Андреевичем Вяземским. Том I: 1814-1833 годы. Под ред. и с примечаниями Н. К. Кульмана. Петроград, 1921. (Дореволюционные издания материалов из архива бр. Тургеневых представляют ценнейший материал для истории русской культуры и русских взаимоотношений с Зап. Европой. Весьма ценны примечания к ним В. М. Истрина, Н. К. Кульмана и Е. И. Тарасова, представляющие образец полноты и точности. Они выгодно отличаются от примечаний А. А. Сабурова к советскому изданию переписки А. И. Тургенева с бр. Булгаковыми, часто неверных или просто безграмотных).

———«Письма Александра Ивановича Тургенева к Ивану Ивановичу Дмитриеву». **Русский Архив,** 1867.

———Письма к брату С. И. Тургеневу. Институт Литературы Ак. Наук СССР. Москва-Ленинград, 1936. (Это издание мне не удалось видеть. Ссылка на него имеется в примечаниях к статье М. Степанова в «Литературном Наследстве»).

БИБЛИОГРАФИЯ

[Т у р г е н е в, Н. И.]Архив бр. Тургеневых. Вып. 3-й: Дневники Николая Ивановича Тургенева за 1811-1816 гг. (II том). Под ред. и с примеч. Е. И. Т а р а с о в а. СПб., 1913. Вып. 5-й: Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1816-1824 годы. (III том). Под ред. и с примеч. Е. И. Т а р а с о в а. Петроград, 1921.

[Ф а р н г а г е н фон Э н з е, К. А.] «Выдержки из дневников». **Русская Старина,** т. 23, 1878.

[Ш а т о б р и а н]. «Неизданный Шатобриан». Публикация Mme Cécile Daubray. (Париж). **Литературное Наследство,** т. 33-34. Москва, 1939, стр. 639-672.

Ш и л ь д е р, А. К. «Немец и француз в записках своих о России в 1839 г.» **Русская Старина,** т. 51, 1886.

B a l z a c, H. de. Oeuvres complètes. T. 24: Correspondance, 1819-1850. Paris, 1876.

———Lettres à l'Etrangère. Paris, (i, 456).

———Oeuvres complètes. T. 40: Oeuvres diverses. Texet revisé et annoté par Marcel B o u t e r o n et Henri L o n g n o n. Paris, 1940. "Lettre sur Kiew".

[———]Balzac mis à nu et les dessous de la société romantique d'après les Mémoires inédits d'un contemporain. Préface et notes par Charles L é g e r. Paris, 1928.

[B e r r y, Mary]. Extracts from the Journals and Correspondence of Miss Berry from the Year 1783 to 1852. Edited by Lady Theresa L e w i s. 3 vols. 2nd ed. London, 1866.

B i a n c h i, Nicomede. Storia documentata della diplomazia europea in Italia dall'anno 1814 all'anno 1861. Volume primo: Anni 1814-1820. Torino, 1865.

B o i g n e, Charlotte-Louise-Eléonore-Adélaide de. Récits d'une tante. Paris, 1931.

———Memoirs of the Comtesse de Boigne. Vol. ii: 1815-1819. New York, 1908.

[C o n f a l o n i e r i]. Carteggio del Conte Federico Confalonieri ed altri documenti spettani alla sua biografia pubblicato con annotazioni storiche a cura di Giuseppe G a l l a v r e s i. Milano, 1911.

C r a m e r, Lucien. Correspondance diplomatique de Pictet de Rochemont. Paris, 1914.

C u s t i n e, marquis Astolphe de. La Russie en 1839. Seconde édition, revue, corrigée et augmentée. 4 vols. Paris, 1843.

F a l l o u x, comte A. de. Madame Swetchine, sa vie et ses oeuvres. 2 vols. 17e éd. Paris, 1900.

F i o r i n i, V. e L e m m i, F. Storia Politica d'Italia. Periodo Napoleonico dal 1799 al 1814. Milano, s. a.

F l o y d, Juanita Helm. Women in the Life of Honoré de Balzac. New York, 1921.

G a g a r i n, P. J. "Tendances catholiques dans la société russe". Le **Correspondant,** t. 50, 1860.

[G e n t z, Fredrich von]. Tagebücher von Friedrich von Gentz. Erster Band. Leipzig, 1873.

[G r a n v i l l e]. Letters of Harriet Countess Granville: 1810-1845. Edited by her son the Hon. F. L e v e s o n-G o w e r. In two vols. London, 1894.

[J a c k s o n, Sir George]. The Bath Archives. A Further Selection from the Diaries and Letters of Sir George Jackson, K. C. H. From 1809 to 1816. Edited by Lady Jackson. In two vols. London, 1873.

H a n o t e a u, Jean. Lettres du prince de Metternich à la comtesse de Lieven, 1818-1819. Paris, 1909.

H a u m a n t, Emile. La Culture française en Russie (1700-1900), 2e édition. Paris, 1913.

[H e i n e]. Heinrich Heine's Briefwechsel. Herausgegeben von Friedrich H i r t h. 3 Bde. München u. Berlin, 1914.

———Heinrich Heine's Memoiren. Nach seinen Werken, Briefen und Gesprächen. Herausgegeben von Gustav K a r p e l e s. Berlin, 1909.

———Heinrich Heine's Memoirs from his Works, Letters, and Conversations. Ed. by Gustav K a r p e l e s. 2 vols. New Yark, 1930.

H o r r e r, le comte d'. "La Russie en 1839 par le marquis de Custine". **Le Correspondant**, t. 3, 1843.

H y d e, H. Montgomery. "The Lieven Archives". **Bulletin of the Institute of Historical Research,** xii, No. 36 (February 1935).

K u c h a r z e w s k i, J. The Origins of Modern Russia. New York, 1948.

L a G a r d e-C h a m b o n a s, comte A. de. Souvenirs du Congrès de Vienne, 1814-1815, publiés avec introduction et notes par le comte F l e u r y. Paris, 1900.

[L y t t e l t o n]. Correspondence of Sarah Spencer Lady Lyttelton: 1787-1870. Edited by her great-granddaughter the Hon. Mrs. Hugh L y t t e l t o n. London, 1912.

[M o n t i, V.] Epistolario di Vincenzo Monti. Raccolto ordinato e annotato de Alfonso B e r t o l d i. Vol. iv (1812-1817). Firenze, 1929.

[du M o n t e t, Marie-Henriette-Radegonde-Alexandrine]. Souvenirs de la baronne du Montet: 1785-1866. Paris, 1904.

M a s s o n, Frédéric. Napoléon et sa famille, t. v (1809-1810). Paris, 1903.

M a i s t r e, Joseph de. Oeuvres complètes. Nouvelle éditition contenant ses oeuvres posthumes et sa Correspondance inédite. Lyon, 1884-86. Tt. xii, xiii et xiv.

———Correspondance diplomatique de Joseph de Maistre, 1811-1817. Recueillie et publiée par Albert B l a n c. 2 vols. Paris, 1860.

———Lettres et opuscules inédits du comte Joseph de Maistre, précédés d'une notice bibliographique par son fils le comte Rodolphe de Maistre. Paris, 1851. 2 vol.; 2me éd., 1853; 4me éd., 1861.

M e t t e r n i c h. V. H a n o t e a u.

M o u l a r d, J. "Lucien Bonaparte et son départ de Rome en 1810 d'après les documents inédits". **Le Correspondant,** t. 236, 1909.

N e w, Chester H. A Biography of John George Lambton, First Earl of Durham. Oxford, 1929.

P e r r e r o, Domenico. I Reali di Savoia nell'esiglio (1799-1806). Narrazione storica su documenti inediti. Torino, 1898.

———Gli ultimi reali di Savoia del ramo primogenito ed il principe Carlo Alberto di Carignano. Studio storico su documenti inediti. Torino, 1889.

Pictet, Edmond. Biographie, travaux et correspondance diplomatique de C. Pictet de Rochemont, député de Genève auprès du Congrès de Vienne, 1814, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentaire de la Suisse à Paris et à Turin, 1815 et 1816: 1755-1824. Genève, 1892.

Pierling, La Russie et le Saint-Siège. t. v.

Pingaud, L. "Les Russes à Paris (1800-1830)". **Le Correspondant,** t. 215 (1904).

Quénet, Charles. Tchaadaev et les Lettres philosophiques. Contribution à l'étude du mouvement des idées en Russie. Paris, 1931.

Reid, Stuart J. Life and Letters of the First Earl of Durham: 1792-1840. In two vols. London, 1906.

Rouët de Journel, M. J. Un Collège de Jésuites à Saint-Pétersbourg, 1800-1816. Paris, 1922.
(Указанием на упоминание здесь о К. я обязан автору. Книгой его мне не удалось воспользоваться).

Schnitzler, J. H. Histoire intime de la Russie sous les Empereurs Alexandre et Nicolas, et particulièrement pendant la crise de 1825. 4 vols. Bruxelles, 1847.

———Secret History of the Court and Government of Russia under the Emperors Alexander and Nicholas. 2 vols. London, 1847.

[Stern, L.] Die Varnhagen von Ensesche Sammlung in der Königlichen Bibliothek zu Berlin, geordnet und verzeichnet von Ludwig Stern. Berlin, 1911.

Stigand, William. The Life, Works, and Opinions of Heinrich Heine. Two vols. New York, 1880.

Strodtmann, Adolf. H. Heine's Leben und Werke. Dritte Auflage. 2 Bde. Hamburg, 1884.

[Swetchine, S.] Lettres de Madame Swetchine publiées par le comte de Falloux. Paris, 1862. 2 vol.

[Varnhagen von Ense, K. A.] Aus dem Nachlass Varnhagen's von Ense. Briefwechsel zwischen Varnhagen und Rahel. Sechster Band. Leipzig, 1875.

———Ans dem Nachlass Varnhagen's von Ense. 14. Bde. 1862-1870. Bd. 15: Register. Bearbeitet von Dr. Heinr. Hub. Houben. Berlin, 1905.

———Denkwürdigkeiten und vermischte Schriften. Bd. ix. Leipzig, 1859.

[Varnhagen von Ense, Rahel.] Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde. Berlin, 1834.

Wassiltchikow, A. Les Razoumovski. Tome iii: Las descendance du comte Kirill. Edition française par A. Brückner. Halle s. S., 1894.
(Русского издания этого труда я не имел под рукой, а французского видел лишь три тома. Упоминание о К. имеется повидимому).

Weil, M. H. Les Dessous du Congrès de Vienne. D'après les documents originaux des Archives du Ministère Impérial et Royal de l'intérieur. 2 vols. Paris, 1917.

Wit, Johannes (genannt von Dörring). Fragmente aus meinem Leben und meiner Zeit. 2 Bde. Braunschweig, 1827.

Wolff, Max J. Heinrich Heine. München, 1922.

В. Письма и депеши Козловского

В печати до сих пор известны следующие письма Козловского:

Сестре Анне—**Русский Архив,** 1915, iii.
Гр. М. С. Воронцову (2)— в «Архиве кн. Воронцова», **т. 36.**
Шатобриану—в статье Пэнго.
Г-же де Сталь—там же.
Маркизу Кавуру—там же.
Пиктэ де Рошмону—у Крамера.
Барону де Турнону—в статье Мулара.
Баварскому королю—у Вейля.
Графу Монжеласу—там же.
Рахили Фарнгаген—у Дорова.

Из ранее неопубликованных писем письмо к мисс Берри напечатано выше. Известно наличие писем Козловского в архивах Фарнгагена фон Энзе и княгини Ливен. По всей вероятности, имеются письма Козловского в архиве братьев Тургеневых, в Остафьевском архиве Вяземских и в архиве братьев Булгаковых. Упоминаемое в переписке Одоевского письмо к нему Козловского хранится, вероятно, в бумагах Краевского в б. Императорской Публичной Библиотеке.

Некоторые дипломатические депеши и донесения Козловского напечатаны полностью или в извлечениях в **Литературном Наследстве,** тт. 29-30 и 34, и в статье Пэнго. Многочисленные депеши его должны несомненно храниться в архиве русского министерства иностранных дел.

Дополнение

Здесь перечислены иностранные книги и статьи, упоминаемые в обзоре Custiniana в приложении XIII, поскольку они не попали в библиографию литературы о Козловском.

CUSTINIANA

Custine, marquis A. de. Lettres de Russie, Paris, 1946.

Duez, E. Critique des mystères de la Russie et de l'ouvrage de M. de Custine: "La Russie en 1839", suivie de l'extrait du voyage de l'Empereur. **Paris, 1844.**

Galantière, Lewis. "Through the Russian Looking-Glass," **Foreign-Affairs,** XXVIII (October, 1949), pp. 114-124.

[Golovine, Ivan]. Discours sur Pierre le Grand. Réfutation du livre de M. de Custine: "La Russie en 1839". Paris, 1844.

[Gretsch, N.] Ueber das Werk: "La Russie en 1839" par le marquis de Custine. Aus dem Russischen übersetzt von W. von Kotzebue. Paris-Heidelberg, 1844.

[Labenski, X.] Un mot sur l'ouvrage de M. de Custine, intitulé: La Russie en 1839, par Un Russe. Paris, 1843.

Reynold, Gonzague de. Le Monde russe. La formation de l'Europe. Paris, 1950.

Schelting, Alexander von. Russland und Europa im russischen Geschichtsdenken. Bern, 1948.

Smith, Walter Bedell. My Three Years in Moscow. Boston and New York, 1949.

БИБЛИОГРАФИЯ

[Tiutchev, F.] Lettre à M. le Dr. Gustave Kolb, rédacteur de la Gazette Universelle. 1844.

[Tolstoï, J.] La Russie rêvée par M. de Custine ou Lettres sur cet ouvrage écrites de Francfort. Paris, 1843.

———Lettres d'un Russe à un journaliste français sur les diatribes de la presse anti-russe. Paris, 1844.

[Varnhagen von Ense]. Aus dem Nachlass Varnhagen's von Ense. Tagebücher von K. A. Varnhagen von Ense. 14. Bde. 1862-1870. Bd. ii, 197.

УКАЗАТЕЛЬ ГЛАВНЕЙШИХ ИМЕН

Русские имена

Иностранные имена